



Марсель Жуандо

ТАЙНЫЕ ПИСЬМЕНА

*перевод Татьяны Источниковой
и Валерия Нугатова*



Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр



Marcel Jouhandeau

Écrits secrets

На стр. 7 и 73 использованы иллюстрации
Эли Грекоффа (1914 –1985) к первому изданию
книги Марселя Жуандо «Тиресий»

Редактор: Дмитрий Волчек
Верстка и обложка: Дарья Протченкова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

© Arléa, 1988
© Kolonna Publications, 2013

ISBN 978-5-98144-170-7

Тайное путешествие, *перев. Т. Источниковой* 7

Тиресий, *перев. В. Нугатова* 73

ТАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ



Элиза* боится своего дома без меня. Каждый раз, когда мне надо уезжать, она говорит: 9

– Мне плохо от одной мысли, что тебя здесь не будет. А когда я вернусь, проводив тебя на вокзал, и увижу весь этот беспорядок, я буду совсем несчастной.

Но с чего бы ей сердиться, если я оставляю ей возможность перед самым моим отъездом сделать вид, что она забыла обо мне, и заняться уборкой? Она и не думает бранить меня, она признается, что мое отсутствие повергает ее в отчаяние. Кого из нас двоих назвать верным?

В поезде – первые знакомства.

Х., чьего имени я пока не знаю, делит со мной купе и спит на верхней полке надо мной.

Мне очень хочется сказать Х, что я его друг. Стоит мне заговорить с кем-то вполголоса, и я сразу чувствую себя свободнее – с ним и с самим собой.

В винном погребе я сижу между Х. и Н.

Я говорю Х.:

* См. примечание на стр. 92

– Вы мой брат.

Н.: – Вы оказываете ему слишком много чести.

– Но и вы, Жан, – вы тоже мой брат.

Когда мы выходим, взявшись под руки, в ярком свете луны мы замечаем три свои тени.

Х.: Но это три...

Я готов поклясться, что Х. не хочет произносить это слово всуе, как большинство людей. Он его не опошляет.

10

О, Трехликая Геката!..

На мгновение я чувствую себя парящим на крыльях очаровательной дружеской фамильярности с Х. и Н.

Никогда еще мое одиночество не казалось мне таким огромным, при том что оно ничуть не умаляло моей способности к общению. Иными словами, я научился быть среди людей, не теряя ни частицы собственного «я». Такая легкость весьма полезна. Она немного сродни легкости пловца в воде или святого в лучах божественной благодати. Прежде я считал, что она для меня недостижима.

Какое счастье не иметь предубеждений против кого бы то ни было, в том числе против себя – так легко, так просто!

Я обуздываю свою чувственность без особых усилий, иногда она взбрыкивает, но никогда не сбрасывает меня с седла. Я хозяин своей лошади.

В разговоре с Н. я произношу: «Книги – мои лучшие друзья».

Он с возмущением восклицает: «А как же мы?!» – указывая пальцем на Х. и себя.

Это ловушка? Сдается мне, что я в нее попался.

Я знаю, что можно ощущать подспудную тревогу, не признаваясь себе в этом. Можно говорить себе, что ты взволнован, или верить, что так оно и есть, – но это будет неправдой. Можно оказаться в дураках или притвориться, что такое с тобой случилось.

II

Однако порой, когда я вижу, как его рука бесцельно блуждает по столу или цепляется за спинку стула, словно птица, устраивающаяся на ночлег, – мне хочется завладеть ею, но я не знаю, кого я разбужу.

Великие вещи, которые происходят во мне, – очень маленькие. Если бы о них узнали, меня задушили бы между двумя матрасами, как тех, кого покусала бешеная собака. Но до тех пор, пока только я один знаю о своем душевном смятении, я еще не полностью потерянный человек.

Когда в тот вечер Х. так небрежно заговорил обо мне с нашим общим другом Н., – может быть, специально для того, чтобы посмотреть на мою реакцию, – я так и взвился, несмотря на мою обычную застенчивость, и быстро ушел, не разбирая дороги, словно дерево, ударом молнии лишённое корней и отброшенное вдаль. Все могли заметить, что я собою не владел.

Какая разница, что я страдаю и из-за кого я страдаю! Эта драма не интересует никого, кроме химер, гнездящихся в самых глубинах моего сердца.

Я сказал Х.:

– Чудовище.

Ф., который это услышал, мечтательно произнес вслух:

– Вот это да – настоящий язык Расина.

Возможное определение:

– Я называю чудовищем того, кто сначала произносит слова, способные помутить воображение, а потом притворяется, что ничего такого не говорил.

12

В сумерках, когда какой-то незнакомец взял меня за руку, Х., выскочивший перед нами на перекресток, крикнул мне, глядя прямо в глаза:

– Повторите-ка, что я чудовище!

В этом было даже некоторое кокетство. Или, может быть, ревность?

Сегодня я пришел в номер, который делят Х. и Н., и там мы читали поэму, посвященную матери Жана, которая умерла в его отсутствие.

Господи, неужели я никогда не поднимусь? Неужели я всегда буду падать, натолкнувшись на самого себя, той стороной, где сердце колотится так сильно, что его стук меня оглушает? Неужели я никогда не поднимусь, чтобы дать ему успокоиться? Дай мне Твою руку!

Х. говорит мне: «Без сомнения, вам нужно снова пройти через Хаос и восстановить Порядок».

Что он имеет в виду?

Единственное, чем я горжусь: ежесекундно проходя через огонь, я не перестаю улыбаться, и ничто не заставит эту улыбку исчезнуть с моих губ.

Отчего я столь долго не могу исцелиться? Так часто я переживал одни и те же муки: рана, смерть, погребение, воскрешение. Отчего я должен снова проходить этот мрачный адонисийский цикл? Не превратился ли я уже в свою собственную тень, свой призрак, свой фантом?

Настойчивое любопытство, которое я всегда проявляю к миру и ближнему своему в этом мире, делает меня уязвимым. Подумать только, до чего легко меня одурачить или заставить почувствовать себя виноватым. Уже очень давно я перешел установленные пределы и теперь перемещаюсь в своих собственных границах, куда простым смертным нет доступа. Это можно было бы назвать поэзией, если бы это не было что-то еще более редкое.

Не полагайся больше на слова: их тяжесть, их весомость больше не имеют никакого отношения к твоим чувствам, таким легким, воздушным, свободным от оков, так же как их смысл – к твоим мыслям. Создай новый язык, чтобы тебя никто и никогда больше не слышал.

Круг, в который ты вошел, не имеет знакомого названия, но доведешь ли ты свою авантюру до конца?

За обедом разглядываю своих соседей. На какое-то время я становлюсь по сути невидимым – или языки пламени, окружающие меня, выдают мое присутствие? Где я? Об этом неизвестно тем, кто полагает, что я по-прежнему здесь – весь, полностью, всецело здесь.

Какие бездны разверзнуты по обе стороны от меня!

Иной мир сопровождает меня, отделяет, изолирует от остальных. Его обитатели, драконы

или херувимы, как будто отстраняют мою руку и сами хватают мой бокал или кусок хлеба – любое из яств, которое я все никак не могу поднести к своим губам. Это требует гигантского усилия; кажется, я больше не живу – я даже не пытаюсь имитировать действия живых, которые меня больше не интересуют, не пытаюсь произносить надлежащие слова в тех или иных ситуациях, я словно бы не имею уже ничего общего с этой реальностью, я умер и оказался в загробном мире, где движусь сквозь мрак – тенью среди теней.

Мне нужна его кровь – может быть, для того, чтобы навести порчу.

Отвращение наступает порой от избытка желания, смерть – от избытка жизни.

О, исцеляющее уродство! Красота больше не отражается в моей душе – лишь ее искаженный образ, не имеющий больше никакого очарования. Наконец-то я отрезвел. Я вижу себя таким как я есть и Х. – таким как он есть.

Раньше я презирал себя – и, как обычно бывает в таких случаях, спасение пришло в тот момент, когда я понял, что заблуждаюсь на свой счет. Только тот, кто видит, что вы ошибаетесь на свой счет, вас презирает. Ошибка – это грех. Но пока вы не признаете ее, это другое дело – это страсть. Мы видим красоту и любим ее там, где ее нет.

Мы вместе? Я этого больше не чувствую. Лишь когда мы разделимся, я его найду, я вновь его обрету, сорву с его маску – но Боже мой! до чего эта маска прекрасна!

Уродство или, напротив, Красота меня защищает? Все, что не она, я отвергаю. Без Нее я чувствовал себя настолько обделенным, что мне пришлось сделать необходимое внутреннее усилие, чтобы поскорее вернуть себе свое королевство – которое на самом деле ее.

15

Смогу ли я совершить хоть один поступок, произнести одно-единственное слово, которые обесчестят меня в собственных глазах? Внезапно меня окутывает ночь, проникает в меня до самой глубины души, усыпляя меня, навеки погружая в забытие, вдали от всякой славы. Напрасно я стал бы искать здесь свет – его больше нет нигде для меня.

Я бьюсь между океаном и непроглядно-черным небом – и вот наконец мои руки разрывают тьму преисподней. О, какое умиротворение! Какой нежный свет! Ни тени облачка, ни жалости, ни слез, – и вот из моей грубости, из моей суровости, моей жестокости по отношению к самому себе рождается моя нежность.

Даже F., – ты, F., несчастная шестая буква алфавита, – подумать только, и ты не чужд моему освобождению! Провидение не сочло зазорным воспользоваться тобой, как если бы ты был моим ангелом-хранителем, – чтобы прийти мне на помощь!

И в самом деле, сегодня вечером F., указав мне на M., со всем простодушием спросил:

– Вы разве не видите, в какую сторону он склоняется?

Это было в точности так, словно он поднес мне зеркало, чтобы я смог увидеть себя. Я даже засомневался: может быть, F. – просто игра моего воображения, оптический обман, небесная проекция, брошенная на M., благодаря которой я увидел то, что происходит во мне – потому что, конечно же, это не M. склонялся не в ту сторону, а я сам. И я тут же начал выпрямляться.

16

Я не хочу больше этой тоски. Как я мог ее выносить? Позволяешь себе раствориться в небытии, позволяешь дьяволу заморочить себя – и вдруг за очередным поворотом дороги узнаешь его хохот, потому что он тут как тут; замечаешь тоску своего компаньона. Возможно ли, что я себя скомпрометировал, опорочил близостью с ним? Ловишь себя на этой бесчестной мысли, и от стыда краска бросается в лицо. О, эта боль первой минуты одиночества, когда Друг, каким бы он ни был, вас покидает, сам не зная о том; вы даете ему отставку – и вдруг сразу становится не с кем говорить, не на кого смотреть днем и ночью. Но надо же, сколько места успело занять «Чудовище», если без него во мне и вокруг меня остается такая пустота! Словно время и пространство существовали только благодаря ему и ради него. Словно он был для меня Вечностью (точкой отсчета) или Солнцем – моей собственной Вечностью и моим персональным Солнцем. В его присутствии я не замечал разницы между днем и ночью; без него вокруг меня сплошная тьма и пустыня – без малейшей надежды на рассвет и расцвет.

Увы! Все, что я, как мне казалось, сделал хорошего и значительного – не имеет больше никакого смысла, никакой ценности. Ничего больше светлого, бескорыстного, истинного. Я думал, что люблю свой долг, – а любил Х. Я думал, что иду прямым путем, – а каждый видел, что я склоняюсь к Х. Никакого благородства не осталось ни в моей походке, ни в моих манерах, на лбу у меня печать нелепости. Питаешь иллюзию, что ведешь себя как ангел или Бог – а все видят в тебе затравленного зверя. Без сомнения, мне нужно было познать это смятение, этот хаос, чтобы я смог восстановить в себе Порядок, – как он мне сказал.

Теперь порядок восстановлен – но, может быть, я спокоен только потому, что на мгновение солнце потускнело? Сегодня утром я нашел Х. невероятно уродливым. Спасибо.

Порой Чудовище говорит. Вот только что оно мне сказало:

– Думаю, сегодня вечером я совершу нечто бесстыдное.

Это сказано на нашем языке – потому что у нас двоих свой собственный язык, свой шифр, ключ к которому засекречен.

Но почему моя походка становится более твердой, что бы ни случилось, а взгляд – более трезвым? Меня уже не так легко выбить из колеи.

И вторая его фраза, тоже сегодня:

Мимо нас все время ходят туда-сюда разные люди, постоянно косясь в нашу сторону; и вот наконец кто-то спрашивает: «Почему они все тут болтаются?»

Х.: «Они пришли посмотреть на Чудовище!»

Лишь когда полностью отдаешься чувству или идее, приходит подлинное величие.

Я пытаюсь понять свою отчужденность.

Вдруг, в очередной раз, все утрачивает важность для меня, кроме X.

И конечно же, стоит только потерять разум – как все остальное тоже потеряно.

18 Но с таким же успехом все потеряно, когда разум остается, и ради его сохранения я отказываюсь от X. – единственного, кто важен для меня.

Это все равно что найти убежище среди вечных льдов.

Я говорю X. в присутствии Н.:

– Вы знаете о своем очаровании. Н. не знает о своем.

И тут же какой-то посторонний человек, присутствующий при нашем разговоре, ни с того ни с сего начинает рассказывать, как Н. в детстве играл в школьном спектакле роль ангела, которого Бог избрал для того, чтобы он произнес против дьявола обличительную речь – но Н. в последний момент отклонился от роли и не стал проклинать Сатану. В результате пьеса, вряд ли имевшая бы успех сама по себе, была встречена публикой с восторгом, благодаря такому неожиданному повороту.

Я говорю X.:

– Вы ведь знаете эту историю о слезе Иисуса, упавшей на лоб Люцифера, чтобы освежить его?

Н. – моя Элоа*.

* Героиня незавершенной поэмы Альфреда де Виньи, ангелическое существо, рожденное из слезы Христа, чья любовь должна была спасти Сатану.

Мы всегда, в той или иной мере, являемся чьим-то солнцем. Редкая привилегия – ослепительно сиять. Мы движемся – и на нас смотрят либо отворачиваются; мы щедро изливаем свет либо ослабляем его. Особенно необходимо избегать малейшего проявления равнодушия или иронии к мирам, которые освещаешь, сколь бы неприметными и безвестными они ни были, и если сожжешь их ненароком – стоит воздержаться от того, чтобы гордиться этим и оставлять их погруженными во мрак, не благословив даже единственного счастливого дня, который им выпал и которым они вечно будут нам обязаны.

Нигде так не велика слава Х., как в нашей разлуке с ним. Без сомнения, в своем одиноком отчаянии я поглощен им настолько, что даже страсть не требует большего.

Нигде так не велика слава Бога, как в преисподней! Без сомнения, в геенне огненной все помыслы грешников настолько полны Им, что даже Религия не требует большего.

Что я мог бы сказать и чего никогда бы не сказал (Х.)? Окутать себя мраком и молчанием, и главное – запретить себе произносить те слова, которых он с особым нетерпением от меня ждет. Стоит лишь полностью излить душу – и вот уже не остается никакого интереса ни к себе, ни друг к другу.

Если бы к тому же я еще точно знал, каким бы хотел быть с ним, и каким бы хотел видеть его со мной.

Слово гораздо быстрее способно унять беспокойство, прекратить волнение, нежели их подхлестнуть.

Пишешь хорошо, лишь когда всецело устремлен к сущностному, к неизведанному. Стоит воздерживаться даже от того, чтобы принять банальное приглашение, если оно написано безграмотно и неуклюже; не поддаваться строящему глазки прилагательному, в котором вы обнаружили кокетство самого дурного тона. У слов есть свои трюки, свои излюбленные приемы, своя школа соблазна.

20

А мы должны защищаться. Наши чувства подвергают нас тем же опасностям, что и слова. Достаточно лишь на секунду ослабить бдительность, чтобы и в самом совершенном сердце появилась червоточина, чтобы и самая благородная страсть померкла и запятналась вульгарностью и пошлостью.

Страсть – уже не абсолютное помутнение с того момента, как начинаешь ею управлять, становишься ее господином, перестаешь забывать себя. Она обостряет внимание, распахивает перед тобой горизонты, о самом существовании которых ты раньше даже не подозревал – если только ее вспышки не усиливают густоту теней. Она также позволяет понять в себе самом и вокруг себя многие вещи, которые могли бы остаться незамеченными. Платон говорил, что она пробуждает в нас пророческий дар, что она творит чары, волшебство; что она служит источником вдохновения, которое сродни божественной одержимости. Благодаря ей наша речь становится поэтичной, слова танцуют и кружатся; она то притягивает их, то рассеивает вокруг одного-единственного имени – подобно тому, как движутся планеты солнечной системы вокруг одного-единственного светила.

О божественное внутреннее единство этого путешествия, которое есть поэма на непонятном языке, чья двойственность, помогающая мне скрывать мои секреты, то опьяняет меня, то просветляет. О, прекрасная авантюра! Если бы не X., я никогда не узнал бы ни H., ни R., ни A., ни Z., ни его родины, ни своей. Без X. я бы никуда не поехал – но когда я решил следовать за ним, я еще не знал, что делаю. Я признался в этом себе лишь гораздо позже. Если бы я мог все предвидеть, то никуда бы не поехал. Но я поехал – с его ладонью на моих глазах.

Не предупреждал ли я, что для меня возможно лишь одинокое существование? Меня заставили отказаться от привычной осторожности и переступить пределы тесных границ – так что же теперь удивляться, что я постоянно одержим лишь одной навязчивой идеей? Привычка жить в своей раковине отнюдь не помогает вам, когда вы оказываетесь среди людей. Они заставили меня выйти из рамки – и теперь не могут примириться с тем, что я веду себя как обезумевшая картина, как поврежденный хрупкий механизм. Все равно что забрать Ангела или Поклоняющегося из триптиха и требовать от них, чтобы они шли в ногу со всеми – бесполезная, напрасная, бессмысленная попытка. – «Все шло так хорошо», скажут мне. – Тем хуже! Я все испортил.

– Вам не хватало только одного – постоянно осыпать меня насмешками?

X.: – Мне, вас? Слова – это одно, иное дело чувства.

Домосед всегда остается таковым, даже в путешествии. С момента нашего отъезда у меня такое ощущение, что я, словно король, передвигаюсь вместе со всем своим двором. Его составляют Х. и Н. Когда кто-то из них отсутствует, я чувствую себя одиноким, покинутым, опустошенным. Они нужны мне оба, один справа, другой слева, и я приучаю себя двигаться внутри нашей неразделимой группы, этой единой тройственности.

22

Я уже готов был поверить, что начинаю сходиться с ума по S., когда остался один. Они смотрели удочки, не предупредив меня, – оскорбление величества!

Мы – герои великой поэмы. Мне осталось лишь придумать форму, замысел у меня уже есть.

Так что же – я возвращаюсь к тебе, Парацельс? Каким путем? Ради кого? Ради чего? Призраки возрождаются, заводят вокруг меня свою сарабанду – и я не знаю, от чего я сильнее болен: от того, что слишком хорошо ощущаю их присутствие или от того, что не уверен в нем. Мне кажется, что моих эмоций им недостаточно, как недостаточно их и мне самому; из-за нынешней драмы, заслоняющей драму пятнадцатилетней давности, я испытываю вину перед своими воспоминаниями.

Никто, конечно, никогда не станет, думал я, моим Адом или моим Небом. До какого-то момента страсть служила мне развлечением. Главное – ни от кого ничего не ждать, никогда не притязать на обладание кем бы то ни было. Мне достаточно искушать судьбу из-за одного-единственного существа, которое, само о том не подозревая, стано-

вится всем, что я вижу, всем, что я слышу, всем, чем я дышу, всем, что я ем и пью, всем, чего я касаюсь, всем, что я знаю, кто для меня – сон и пробуждение, забота и отдых; и вот так, медленно и постепенно, я перестаю нуждаться в чем-либо другом. «Это» непрестанно пульсирует вокруг меня, совсем рядом со мной, иногда – будто внутри меня, всегда так близко и настолько дальше, чем мне хотелось бы, что я даже не знаю, счастлив я или несчастен. Из-за этого присутствия и отсутствия, сменяющих друг друга, все меня очаровывает, все приводит в волнение и одновременно успокаивает, словно бы каждое мгновение я умирал от чрезмерной полноты жизни – или же, умирая каждую секунду, проживал тысячу жизней или тысячу раз по-разному одну и ту же жизнь, неважно какую. Беспреданно подгоняемый бичами молний своего смятения, я возвращаюсь в хаос и вскоре отыскиваю там, по образу моих воспоминаний или моих желаний, терпеливо, одну за другой, – каждую вещь, от самой большой до самой маленькой, от самой необходимой до самой бесполезной; вхождение в роль Творца и аплодисменты возобновляются для меня; я открываю среди волн мою землю, лучшую из всех земель, увенчанную звездами, и небесный свод над ней, где поднимается надо всем новое солнце, чей свет озаряет мне всю Вселенную: ваши леса, птицы, ваши моря, рыбы. Х. восклицает, словно удивленный Адам: «Ха! Ну надо же!», я испытываю желание расхохотаться первый раз в жизни, гомерическим хохотом, и «он» исчезает на горизонте земного рая, с яблоком в руке – яблоком раздора! Теперь мне не хватает всего одновременно. Бог снова одинок из-за отсутствия человека. Пустота окутывает меня, окружает невидимым кольцом, слезы Предвечного струятся, дух покидает меня одновременно с материей.

Дух носится над водами, природное и сверхприродное унесены водопадами в бездну, где все создается, разрушается, обретает новую форму; я могу надеяться лишь на бесконечное возвращение в свое прежнее русло. От изначального небытия к небытию уже определенному, через миг абсолютного, жадного насыщения, и вот я уже переполнен – стоит мне вообразить визит Х., и у меня появляется причина – сиюминутная, последняя, единственная (а может быть, только иллюзорная) – воссоздать себя заново, собрать по частям, убедиться, что я не буду вечно одинок.

Привычка к постоянному увеличению числа божественных слов вокруг единственного неизменного образа стала моим настойчивым стремлением лет с двенадцати, и с тех пор лишь укреплялась. Теперь соответствие самому себе стало для меня необходимостью и главным предметом моих мечтаний, одной непрерывной галлюцинацией. Для меня речь всегда идет только о том, чтобы – из-за неминуемой опасности, которую я провоцирую, – в один миг заместить образ реальным присутствием. Этот механизм никогда не дает сбоев. Он реконструирует сам себя с магической, дьявольской точностью.

Страсть – это отдельный мир, в котором я живу, не пересекаясь с другими людьми. Как типу вроде меня быть частью общества? Очень быстро обнаруживается, что я невыносим для остальных. Если бы я был один, это несоответствие ощущалось бы не так остро. Я пытаюсь смешаться с себе подобными, принять участие в их разговорах, но

механизм пыток и удовольствий, храм чувств, который я перемещаю вместе с собой, изолирует меня в самой гуще их празднеств, и буря моих эмоций заглушает все их слова прежде, чем они достигают моего слуха. Порой мне удастся безупречно изобразить безмятежность, но лишь только отблеск света скользнет по моему лицу или из окружающей меня тени донесется смешок, выдающий кого-то невидимого, – и вот я уже чувствую себя без вины подозреваемым и тревожу тех, кого, напротив, хотел бы успокоить.

25

Чем более страсть противоречива, тем более она возвышенна – словно башня, с вершины которой отныне смотрит душа, больше не подвергая себя опасности.

Никакого снисхождения к себе: лишь безусловное сохранение достоинства и бесконечная требовательность – вот приказ, который я себе отдал.

Вчера вечером, в театре, произошло нечто необыкновенное. Я обернулся из партера, чтобы взглянуть на ту ложу, в которой пятнадцать лет назад сидел возле Герцогини – и тут мне показалось, что я смотрю на самого себя, снизу вверх! Где был я настоящий? Я непрерывно ощущал взгляд меня бывшего на меня нынешнего, и этот взгляд окутывал меня как мантия – то снежная, то свинцовая, то огненная. Какая тяжесть, и тут же вслед за ней – какой холод, какой жар! Это ужасное испытание оказалось бесполезным: я вновь

обрел себя, того же, что и прежде, только чуть более близкого к смерти, гораздо менее приятного в общении и все такого же чувствительного.

Моцарт: от «Женитьбы Фигаро» к «Реквиему», через «Дон Жуана».

История этого путешествия будет также историей дружбы.

26

Тревога – мое обычное состояние. Поскольку трудно заставить окружающих с этим смириться, я изолирую себя от них. В конце концов, не так тяжело испытывать тревогу, как при этом чувствовать себя в плену чужих взглядов.

Однако приспособленность всей группы к тревожному состоянию одного из ее членов творит чудеса – в том случае, если она обладает редким качеством: способностью создать мощное коллективное переживание, которое таинственным образом распространится от одного к другому, так, что каждый, сам того не сознавая, станет более восприимчив к самому себе и ко всему, что его окружает; так, присутствие нескольких магов позволяет чудесам происходить с регулярностью движения челнока на ткацком станке реальности – и вот слепые видят свет, глухие слышат аккорды или целые музыкальные фразы, которые, пронзая тишину, вызывают у них нечто вроде экстаза, мертвые вновь обретают видимость жизни: мираж, сходный у поэтов и влюбленных – созерцание и страсть пробуждают доселе скованные волны, потоки, таившиеся в глубинах самой природы, переполненной сверхъестественным.

– У меня в V., на берегу D., нечто вроде поместья, – эти слова X. шепчет мне на ухо, – там есть старый парк с красивыми аллеями и сторожевые башни.

Я так страдал из-за того, что он попросил меня сделать вместе с ним довольно большой крюк через центральный проход, прежде чем отвел на мое место, в том же ряду, что и места других. Было ли это проявлением иронии с его стороны, или сыграла роль моя склонность к страданиям? Какая разница? Так или иначе, мы вошли в городскую оперу V. бок о бок, словно две важные персоны, чьего появления только и ждали, чтобы начать спектакль.

27

Аспирин, голод, дружба – какие чудесные промежуточные станции на пути к inferнальным берегам, – ибо во мне живут два разных путешественника: один следует своими загадочными тропами, другой не отделяет своего пути от пути остального стада.

В моем небе непрестанно формируется и распадается образ – словно созвездие из золотистых пылинок.

Поздно встать с постели, немного больным – но почему таким счастливым?

Отъезд в В. Колоссальная усталость, но поверх нее – крохотный огонек, который освещает мне дорогу и не дает упасть. Существует нечто, пробуждающее пыл, который дремлет в моей старой крови.

Кто-то есть позади меня, я об этом догадываюсь. Горные вершины вдалеке освещены, и моя тень, распростершаяся у моих ног, объявляет мне о присутствии моего солнца. Нет ничего более волнующего, чем эти перспективы чувства: некое существо, объект наших предпочтений, перемещается – и все меняется вокруг нас, в зависимости от того, становится оно ближе или дальше.

28

Если бы мы знали всю историю наших несчастий, мы не были бы столь несчастными. Она утешала бы нас тем больше, чем они были бы трагичнее. Стоило бы только не быть героем, достойным вызвать слезы – иначе так и останешься безутешным.

Тот, кто обладает в наших глазах большим моральным авторитетом, нас смущает. Малейшие его желания бременем ложатся на происходящее, как тягостная необходимость. Хотел ли в этот вечер Х., чтобы толпа поскорее рассеялась, и мы наконец смогли бы оказаться вдвоем? После того как все ушли, я тоже удалился – предпоследним – и Х. остался один. Смущение ли одержало во мне верх над желанием, или они, обусловленные друг другом, подействовали заодно?

Итак, мне недостает всего. Впрочем, это не страшно – моего чувства мне достаточно. Я предпочитаю его счастью. Достигнув такой степени совершенства, оно становится более драгоценным, чем объект, который его вызывает. Это состояние, в котором тот, кто ты есть, гораздо важнее отно-

шений с тем, кто позволил их с собой установить. На такой высоте уже ничего ни от кого не требуешь, только от самого себя. Оказавшись по ту сторону границ природы, обретаешь все. Живешь в «эфире», в каком-то предвечном пламени, где постоянно встречаешь объект своего желания, а он находит тебя – по сути, это лишь нескончаемый переход из него в себя и из себя в него, на самом тонком уровне бытия.

Мне больше не нужно спать, как будто я уже умер; даже когда удается закрыть глаза, часть сознания, продолжающая бодрствовать, тут же с силой встряхивает меня и начинает упрекать в том, что я забыл X., – а позабыв о нем, я тем самым отнял и у него часть его величия, и у самого себя – часть своего совершенства. Когда любишь, сон кажется непростительной слабостью – да что там, почти кошунством!

29

Я уверен, что он тоже боится меня, и это справедливо. Страсть, накалившись до определенного градуса, начинает ужасать, а также смущать того, кто является ее объектом – раз уж он не пожелал быть ее причиной, раз уж он выбрал спокойствие и заурядность обыденной жизни.

Сколько я не думаю о том, чтобы хоть отчасти примирить степень важности самого себя и своей дружеской привязанности, – всякий раз убеждаюсь в том, что для дружбы следует установить границы. Здесь я обнаруживаю неразрешимое противоречие между своей гордыней и своей застенчивостью, равно искренними. Требовательность по отношению к самому себе – это, по сути,

та форма, которую приобретает моя гордыня в дружбе; и та и другая равно безграничны. Если уж я поставил себя на службу другому, то именно от себя требую совершенства – но я не знаю, кому, в конечном счете, на самом деле принадлежат почести: тому, кто их воздает, или тому, кто их получает (последний, впрочем, чаще всего не принимает их всерьез).

30

Особая, у каждого своя манера привлечь к себе внимание кого-то – не есть ли это неповторимая черта посвященного ему чувства, подобная беззвучной музыке, которую слышит он один, даже среди шумной толпы?

Не стоит посвящать своего бога в религию, которой вы ему обязаны, которую для него изобрели. Его нужно скрывать в тени его собственного великолепия. Если он слишком возгордится, общение с ним вскоре станет невыносимым. Восхищение допустимо в том случае, если знаешь в нем меру, – но там, где оно переходит всякие границы, оно должно быть тайным. Чаще всего жестокое, оно скорее отпугнет, чем приручит того, кто его вызывает, скорее отдалит его, чем вознесет. Не справившись с собственным величием, которому он не вполне соответствует, которое для него своего рода авантюра, он испытывает побуждение от него отказаться, но одновременно стремится узнать о своих прежде не известных ему способностях, – тех, что ему приписывают или тех, что в нем пробуждают, а порой тех, о которых он мечтал втайне от самого себя – и вот в эту мечту он заманивает нас и делает ее добычей, а сам проходит сквозь нее, улыбаясь, как посторонний.

Если я не понял его игры сегодня вечером, если моей интуиции не хватило на то, чтобы угадать его желание, – я заслуживаю своей кары, иначе говоря, его отсутствия и всех тех лишений, которые оно предполагает, небытия, отчаяния.

Пустота во мне и вокруг меня с того момента, как я его больше не вижу, абсолютна. Свет меркнет, ни один звук не достигает слуха. Я заперт в Ночи и Безмолвии, свидетельствующих о потусторонних берегах, знакомых и таинственных одновременно. Ничего подобного я не чувствовал в отношениях ни с кем другим с 1938 года.

31

Да не будет для души лучшего пристанища, чем другая душа; и для всякого существа – предмета любви более близкого, чем тот, кто подобен ему.

Ничего не требовать, ничего не желать от Х., кроме всего как такового, – всего, что включает в себя Страсть, ощущаемая не как слабость, но как сила, которой ничто не может противостоять. Она по сути – отдельный, непроницаемый мир, заповедная вселенная, отданная под святое покровительство единственного существа. При условии, что она не страдает ни сдержанностью, ни умеренностью, – ее ограниченность проявляется лишь в выборе объекта, абсолютного центра притяжения чувства, которое он внушает. Страсть для меня может быть только всеобъемлющей, словно Ад и Рай, созданные для меня одного. Малейшее отвлечение, малейшая поправка на время и про-

странство – и от нее не остается ничего, страсть перестает быть Страстью, и отныне речь идет о чем-то другом, не имеющем с ней ничего общего, ибо она ценна лишь своей бескомпромиссностью, масштабностью своих надежд или своего отчаяния, отсутствием границ в своей требовательности к себе самой. Только здесь она граничит со священнодействием, сливается с ним, занимает его место и порой приближается к Святости, до такой степени, что это дает ей некоторую привилегию, – назовем это почтением со стороны самого Бога.

В этом путешествии два путешествия: то, что я совершаю вместе со всеми, и финал его известен; и то, что я совершаю в одиночестве, вместе с другим одиноким, – *тайное путешествие*.

Это какая-то непрерывная акробатика, в которой постоянно рискуешь сломать шею. Что лучше – отцепиться или вцепиться еще сильнее? Тем более если отцепиться нужно от всего и вся, а вцепиться – в одного-единственного? И как могли бы мои слова группироваться столь быстро и слаженно, если бы у меня не было этого воодушевления?

Боязнь быть им одержимым – или быть замеченным другими в своей одержимости. Всякий раз я отдаляюсь от него, охваченный ужасом. Я слишком его чту, чтобы приближаться.

Моя страсть возносит его на алтарь, увенчивает звездами, окутывает грозными тучами; но даже столь устрашающий, он влечет меня к себе, а влечение, в свою очередь, сменяется страхом.

Я всегда держусь рядом с ним так, словно я ему в тягость, словно ему не приходится ждать от меня ничего хорошего, словно у него все есть, и мне нечего ему дать.

О, это самоуничижение влюбленных.

Слишком сильно любишь, чтобы продолжать любить. Это уже нечто другое. Чем сильнее любишь, тем больше начинаешь ненавидеть. Когда чувствуешь, как кто-то полностью подчинил тебя и ты вот-вот свалишься, вконец обессиленный, к его ногам, – тебя все сильнее охватывает злость. Все излишества, все подвиги самоотречения, все принесенные жертвы язвят сердце, нежность уступает место гневу, мягкость – жестокости.

Но это лишь временно.

Даже то счастье, которое он мне дает, я ухитрюсь превратить в пытку – и тем самым, кажется, заставляю и его улечься на прокрустово ложе. Мое внимание слишком напряжено, мой взгляд слишком пристален, чтобы не быть для него мучительными. Я слишком тщательно отслеживаю все то, о чем позволяю ему догадываться во мне и то, о чем догадываюсь сам в отношении его, чтобы не стеснять ни его, ни свою свободу; чаще всего, когда он хочет сделать мне приятное, это от меня ускользает, без сомнения, оттого, что я всегда излишне тороплюсь, чтобы это заметить, а он не решается настаивать – из страха, что для меня это мало что значит. Итак, в любом случае, все потеряно для нас. Жестокость моего чувства приводит его в замешательство. Он уже не знает, что ему делать, чтобы жить со мной без сканда-

лов, – а я просто не знаю, как с ним жить. Как, в самом деле, привязать его к себе, не раскрываясь сам и не давая раскрыться ему? Его избыточная обходительность, беспокойство, мелькающее в его взгляде, когда он заходит куда-то, где нахожусь я, мое собственное смятение, вызванное его присутствием и проявляющееся в моем поведении, моих жестах, моих речах, – все это выдает ненормальность, странность наших тайных отношений. Все равно как если бы я один среди толпы заметил явление божества и смотрел на него с полным самозабвением – а остальные могли бы разве что заметить на моем лице и руках или, по крайней мере, во взгляде, отблеск божественного света, источник которого остается для них невидим. И отчего эта неуловимая дрожь, это внезапное напряжение всего тела, этот отстраненный вид, который мгновенно изолирует меня от окружающих, – все эти признаки близящегося экстаза? Как только я замечаю беспокойство других, вызванное моим состоянием, я стараюсь вернуть себе непринужденный вид, – но это усилие в один миг разрушает чудо и удаляет от меня моего бога, так же как и он сам отдаляет меня от себя; тогда беспокойство переходит от тех, кто наблюдает за нами, к тому, кто является его причиной, – к Х., который чувствует себя покинутым мной, начинает раздражаться, затем в нем нарастает глухая, почти неосознанная враждебность или, по крайней мере, настоящее равнодушие – как ответ на мое собственное, наигранное, – и я не могу воспользоваться ни одной уловкой, которую предложил бы мне он или те, кто находятся рядом, чтобы вновь к нему приблизиться. Опасность слишком велика: я не могу обратиться к нему первым, не могу сделать вид, что захвачен расплох, даже им, в момент моей слабо-

сти к нему; однако ему, в конце концов, надоедает эта игра. Я и сам больше не могу ее выносить, но моя цепь удерживает меня надежнее, чем ужас, который я испытываю перед последствиями бунта; я цепляюсь за нее даже тогда, когда она уже готова порваться. Добровольный раб, я никогда не скажу «нет» моей привязанности.

Среди шумного каравана, который перемещается вместе с нами и который я почти не замечаю, он станет, сам того не зная, моим одиночеством в этом путешествии – местом моего успокоения, скинией моего молчания и моих медитаций, королевским особняком, осиянным лучами солнца, проводником идеала, в тайну которого полностью не посвящен ни один из нас. Отсюда все наши заблуждения и наши открытия. Можно ли знать точно, какая часть из того, что вносит он в наши отношения, – его собственная? Что если он – не только объект моей страсти, что если он по праву занимает место в моей душе, что если истинный мой идеал не есть нечто иное, чего нельзя было бы увидеть и достичь, если бы он не принял ненадолго этот зримый облик, это воплощение? Может быть, это лишь уловка со стороны некоего божества, или ангела, или самого Творца, чтобы показать мне некий этап на пути к единственной Реальности, которая ожидает меня и – посредством его – влечет меня к себе?

35

Х., словно бы мимоходом, жалуется:

– Вот уже три недели подряд я занят своим привычным делом: быть всем для всех, до такой степени, что я уже толком не знаю, кто такой я

сам, существую ли я вообще на свете, мои ли собственные мысли у меня в голове.

Я очень часто ошибаюсь, принимая обычную вежливость с его стороны за свидетельство какого-то особого расположения.

Не стоит забывать, что он обладает чувством долга, а лично ко мне, быть может, не испытывает ни малейшей симпатии.

36

Я передал ему мои «Дневники», куда записывал все свои впечатления с начала путешествия – это было все равно что бросить их в огонь.

Счастье бессонного диалога с этим ликом, который не отвечает – или отвечает слишком поздно, или слишком рано.

Я ли слишком скромн, или Идол?

Кажется, что «Он» избегает малейшего движения, малейшего признака жизни – только из страха напугать меня.

И вот я сжигаю сам себя, и мои мысли расцветают над этим жертвенным костром, как застывшие огненные языки.

Все слабое, все заурядное сгорает в пламени.

Не остается ни желаний, ни удовольствия, ни боли, ни радости. Все смешивается – и очищенное, и чистое изначально.

Разве само пламя не есть воплощение чистоты?

Так ли уж важно, чья рука выпускает Стрелу – если эту руку направляет указующий перст Божий?

Странное внимание с его стороны: он сказал, чтобы я не садился с ним в одну машину, а затем увлек за собой Н., моего доброго ангела. На кого теперь мне опереться? Может быть, настойчивость, с которой он хотел меня отдалить, нужна была ему лишь затем, чтобы испытать свою власть надо мной, поиграть в деспота, принизить меня, проверить, до какой степени я ему подчиняюсь? Своими собственными руками он толкнул меня в адское пекло и, удерживая меня там, принялся вращать, как на вертеле. Он прилежно играл свою роль, он воспринимал ее всерьез. А эта неопределенность, которую он сегодня утром нарочно развел вокруг одной-единственной вещи, которую я хотел знать? Но я хотя бы менее одинок в моей пытке, которую он мне устроил, тщательно продумав, осуществив и теперь наблюдая за мной издали, словно палач, привыкший видеть и причинять страдание. Он не знает жалости, он уже хорошо освоил изощренное, высочайшее искусство пытки! Но я менее одинок в своих мучениях!

Наши паланкины следуют один за другим; он едет во втором, но я и не думаю оборачиваться, чтобы его увидеть – мне достаточно, чтобы он неотрывно наблюдал за мной. Окружающие декорации роскошны – сама природа во всем своем бесчувственном великолепии.

По мере того как я страдаю все сильнее, словно переходя с одного уровня на другой, мы движемся сквозь дикие леса, а затем, поднимаясь все выше, достигаем вершины горы, одной из самых священных, и перед нами распаивается во все стороны бесконечно широкий горизонт, где сливаются земля и небо, окружая поля самых прославленных сражений.

«Нет, не сюда, вы поедете в другом автомобиле!» – поспешно выкрикнул он, едва распахнув дверцу; мог бы и не настаивать. Бог свидетель, не в моих обычаях навязываться людям. Может быть, таким образом он хотел заставить меня заплатить за мою сдержанность? Я ведь еще не знаю, как он отнесся к моим «Дневникам», которые читал сегодня ночью, – и мое страдание усугубляется тревогой. Я сколько угодно могу предполагать, что чем-то его прогневал – но, в конце концов, кто поручится, что он не бросил чтение, перевернув лишь пару страниц? Что он не выбросил эти записки? Что он вернет их мне? Что он их никому не показал? Что он, оскорбленный, не воспользуется ими для того, чтобы меня погубить?

Мысль о том, что я пропал, приводит меня в исступление.

Мы обмениваемся несколькими словами; он держится со мной очень мягко, слегка смущенно – как я полагаю, из-за того, что он открыл для себя нового в моих дерзостях, в моем бесстыдстве. Сказывается еще и то, что он совсем не желал этих откровений – я заставил его войти, буквально втолкнул против его воли, внезапно, в роковой круг опасной игры, в мир, может быть, вовсе ему не известный. Ничто не готовило его к той атмосфере, которой я его мало-помалу окружал. Пусть мои записки затеряются, пусть попадут в чьи угодно руки – и это будет приговор для нас обоих. Мне приятно, что он столь послушно распишется под всеми моими безумствами, к которым у него даже не было особой предрасположенности. Чего толь-

ко я над ним не вытворял. Он имеет полное право попирать мою голову каблуком, или сдать меня в полицию, или выставить на суд общественного мнения – и этому все будут только аплодировать. Если он этого не делает, то, без сомнения, лишь потому, что мы с ним заодно, и еще потому, что не хочет портить столь удачное путешествие.

Теперь, я знаю, его больше не раздражает мое всегдашнее смятение, поскольку он сам является его причиной; он уже не до такой степени ненавидит меня, хотя и побаивается. Если на публике он держится со мной отчужденно, то наедине с собой наверняка не так самоуверен. Его кокетство требует присутствия зрителя; я скрашиваю его досуг.

39

Когда мы прибываем на место, он подходит ко мне:

– Я прочитал «Дневники».

– И то, что вы теперь знаете, вас отталкивает?

– Нет, мне даже хочется ответить на ваше чувство.

И в тот же миг моим глазам предстает самый восхитительный на свете пейзаж.

Порой Х. оборачивается, чтобы на меня посмотреть, и в его глазах я замечаю непривычные огоньки – словно отблески костров, зажженных на Иванову ночь.

Он – мое солнце, и теперь мне кажется, что я для него – почти звезда: настолько его удивляет моя пылающая чистота.

Слова, которые произносишь, никогда не достигают высоты того, что хочешь сказать, – с того момента, как начинаешь жить в иных, более тонких мирах.

Я шепчу: «Наконец-то я снова могу спать, потому что между нами все хорошо».

40 Как плоско звучит эта фраза, – но это еще ничего по сравнению с теми словесными штампами, которых я избегаю, – еще более слабыми, более пошлыми, более уродливыми. То, что я испытываю каждое мгновение, невозможно выразить словами.

Возвращая мне мое достояние сегодня вечером, перед тем как уйти, он ничего не сказал вслух, оставив свои слова в глубине сердца, но уже внизу, у подножия лестницы, обернулся, положив руку на перила, и крикнул мне, как мальчишка, – который он в сущности и есть, – «Спасибо вам за “Дневники”!» – как будто речь шла о пачке сигарет.

Внезапно возникает какое-то неблагополучие – ни один из наших поступков не соответствует нашим истинным побуждениям. Ничто из того, что происходит между нами, не имеет отношения к душе, Страсти, Религии. Мы то и дело замечаем свои промахи, вызванные недостаточным проявлением чувств. В тайных отношениях необходима наивысшая требовательность к подобным вещам. Наедине с ним, в моменты столь удивительные, что они кажутся сном, я соответствую ему, – но сколь ужасна диспропорция между божеством, которым является каждый из нас, и жалким одушевленным манекеном, который, проявляя его вовне, его предаёт.

Мы с Н. дорожим друг другом, как двое немых. Со стороны это выглядит непонятно и слегка диковато – мы изображаем дружбу, хватая друг друга за руки, мы смотрим друг на друга чересчур выразительно, почти в экзальтации; все наши жесты превосходят наши намерения. Те, кто не знает, что мы говорим не на одном и том же языке, спрашивают себя, удивленные и скандализированные, что означают наши немые излияния – трагедию или комедию? Но как бы мы могли понимать друг друга иначе?

41

Единственный наш переводчик и одновременно тайный язык каждого из нас – это Х.

Сегодня утром я посетил музей V., в компании Н., но без Х., который отдыхал. Сначала мы задержались перед греческой скульптурой – мы оба восхищались ею, и наши чувства смешивались, без всякой ревности, словно у нас был один взгляд на двоих. Затем нас привлекло искусство христианских веков – и мы подолгу склонялись над одними и теми же лицами. Дерево и мрамор были лишь предлогом – мы оба знали, что нас влечет. Между ним и мной было человеческое и божественное, был некто, а теперь есть еще и открытка, которую он мне великодушно подарил у выхода – портрет Лоренцо Лотто, внешне схожего с Х.

Мы не сказали друг другу ни слова, но, одновременно узнав его, заговорщически взглянули друг на друга; мы стали больше чем единомышленниками – сообщниками.

Мои отношения с Ангелом продолжают оставаться чудесными – как если бы мы нашли способ идти одной и той же дорогой бок о бок, не толкаясь и не причиняя друг другу неудобств. Что до меня, я передвигаюсь вместе со своим огромным собором чувств уже менее неловко, с большим изяществом огибая повороты, не так неумело, почти бодро – в то время как он умеряет юношескую легкость, приравнивая свою крылатую походку к моей. Мы оба владеем искусством переглядываться, светски беседовать, обмениваться незначительными словами, дежурными улыбками. Именно с появлением этого немого и обоюдного прочного согласия страсть приобретает особое очарование. Нет уже ничего, что не служило бы признаком этого тайного союза. Даже равнодушие между ним и мной – нарочитое, показное равнодушие, тщательно отмеренное с той и с другой стороны, – указывает на то, что любая явная демонстрация чувств не имеет смысла, более того, она была бы почти невежлива, неделикатна, недостойна нашей уверенности друг в друге, которой могла бы повредить. Больше нет нужды в клятвах и заверениях. Наш альянс совершенен и надежен.

Мои отношения с Х., с тех пор как он знает, продолжают оставаться чудесными.

Вскоре, в одном из самых величественных дворцов мира, за столом, украшенным декоративными ягодами и осенними цветами, я сижу между Н. и Х., напротив Принца – все почести и все удовольствия разом, одновременный апофеоз официального и интимного.

Я понемногу привыкаю к внутреннему сиянию, идущему из глубин сердца, и наконец могу носить его в себе с легкостью.

Есть ли более редкое событие, чем концерт, который слушаешь с закрытыми глазами, при свете красных свечей вместо погашенных люстр? Поскольку музыканты располагаются позади меня, я иногда разворачиваюсь вместе с креслом и оказываюсь прямо напротив Х., а Н. – у меня за спиной. Слегка покачиваясь в этом состоянии неустойчивого равновесия, я предаюсь мечтательности, к которой оно весьма располагает. Шуберт и Моцарт поддерживают ее, присоединяя свою магию к совершенству хоров, где чередуются или сливаются голоса юных воинов и юных дев. Если бы я хоть немного приоткрыл глаза, я тут же оказался бы в потрясающей атмосфере этого роскошного дворца, в окружении порфировых колонн и золоченых арок, а прямо перед собой увидел бы лицо Х., анфас или профиль, его взгляд или его руки, – а вновь опустив веки, я погрузился бы в свою внутреннюю ночь, заполненную мерцающими образами – ключьями божественной добычи, которую я медленно, с наслаждением пожираю в своем убежище. На такой высоте, которой достигает лишь самое утонченное, уже невозможно обмениваться фразами – только звуками и ароматами, подобно метеорам на небосводе или лилиям в полях, без риска вызвать катастрофу. Границы моего существа на какое-то время становятся зыбкими и сливаются с границами Х. В конце концов я различаю лишь расплывчатые очертания наших лиц, которые под воздействием музыки все сильнее сближаются и постепенно замирают, вплавленные в единый контур бронзовой медали, на обратной стороне которой рельефно проступают наши обнаженные тела, благоговейно застывшие в некоем немом священнодействии.

Так празднуют порой свадьбы, в самой торжественности которых чудится некая насмешка со стороны Вселенной, втайне прославляющей дружбу.

Х.? Никто? Или последний, кто носит на пальце волшебное кольцо?

44

Мы покинули спящий город V. Достопочтенный N. всю ночь раскачивался надо мной, эдакий Сократ среди «Туч», в своем гамаке, после того как раздел меня, уложил, убаюкал.

Боже мой, да я и впрямь заболел!

А теперь еще черт понес нас в В.

После вчерашнего перевозбуждения мне нужно умерить пыл. Что я и делаю. О, этот отъезд из V., ногами вперед. Все эти люди, «он» в мелькающем чередовании огней и темноты, склоняющиеся надо мной, затем тут же исчезающие, – и вдруг я оказываюсь в одиночестве, брошенный всеми, и кричу, что меня предали. Но нет, все наблюдают за мной, на почтительном расстоянии; X. безупречен.

Мне кажется, в тот самый миг, когда я терял сознание, я воспользовался этим полужабытьем, чтобы поцеловать его.

Может быть, я и опьянялся только ради подобных вольностей? И ради этого же едва не свернул себе шею, вертясь в кресле во время вчерашнего концерта у Принца? Действительно, боль была адская, я чуть не умер, – но сегодня утром уже мог свободно поворачивать голову.

От внимания F., судя по всему, ничто не ускользает. Он прогуливается, посмеиваясь и играя на мандолине, у подножия башни, в которой заточены влюбленные.

Например, он заметил, что я сохранял все сигары, которыми меня угощали, и крал те, которых мне не предлагали, – как заметил и то, кому я потом их отдавал, не оставляя себе ни одной. Ему даже доставило удовольствие с деликатной настойчивостью несколько раз дать мне понять, что он все разглядел, – и в конце концов я, не удержавшись, наговорил ему колкостей.

45

Чем серьезнее и веселее чувство, которое вы внушаете другому, тем легче он должен себя ощущать. Нельзя, чтобы оно давило на него. Когда он думает обо мне – пусть чувствует себя окрыленным, легким, свободно парящим в воздухе.

Почему именно Лоренцо Медичи мне теперь постоянно чудится, причем без всяких усилий воображения с моей стороны, где-то на периферии зрения, – стоит лишь мне подумать о нем? Он настолько естественно перенимает ту манеру, ту позу, которую придал великий Микеланджело этому Государю, что я не могу припомнить, я ли ему ее рекомендовал, или он внушил мне эту одержимость. Так или иначе, определенно существует сходство между соотношением его рук, лица, бедра – и тем же соотношением, которые мы видим у статуи из Сен-Лоренцо: те же немного массивные пропорции ноги и зада, которые, впрочем, зрительно уменьшают друг друга, не теряя при этом своей мощности; те же конечности, объемные у

основания, а затем становящиеся изящными, тонкими, почти хрупкими, та же голова, кажущаяся маленькой на фоне широких плеч и крепкой шеи, те же руки, положение которых выглядит слегка неестественным.

46 Я представляю его себе, воссоздаю его облик – это лучше, чем смотреть на него в действительности. Я творю его на свой лад, каждый раз нового и все того же. Я хочу сказать, что мой внутренний взор чудесным образом соединяет и обособляет все то, что в его облике и в его внутренней сути есть божественного – то есть того, что присуще одновременно и ему, и моему собственному счастью.

До чего же странно – говорить обычным вежливым тоном, безлично-холодным: «Здравствуйте, месье» – человеку, который для вас всё, альфа и омега, почти что сам Бог.

То, что позволяет мне выносить мое заточение перед ним, посреди этой толпы, – это страх смешного или сентиментального, который оно во мне порождает. То, что позволяет вынести смешное в моем поведении в его глазах, которые, в отличие от чужих, больше ничего не упускают, когда смотрят на меня, – это мое стремление искупить его величием и наивысшим моральным благородством.

Ради безопасности нас обоих всякий раз, когда он замечает меня, вблизи или издалека, его лицо чудесным образом принимает рассеянно-

пренебрежительное выражение, исполненное, тем не менее, истинной нежности, отмеченной наивысшей степенью доверия, которую только я, единственный, кто достаточно хорошо его изучил, способен увидеть и украдкой ею насладиться, – как если бы он контролировал свое очарование с помощью неизменного, хотя и сдержанного волнения, отражающегося в моем взгляде, никогда не устремленном на него напрямую, никогда не задерживающемся на нем надолго.

47

Кто приговорил нас к тому, чтобы видеться только среди этой шумной, все замечающей толпы? Неужели мы так никогда и не узнаем, что это такое – быть наедине? Но как же наша общая тайна возбуждает меня, и насколько же все происходящее вокруг нас было бы зауряднее без этого немого диалога, без этого умения ускользать и этого благословения судьбы – идти друг к другу изо дня в день, сквозь ночи, полные чувств, и неизменно находить друг друга всюду, на той же высоте, где ничто не может помешать нам без всякого стыда предаваться сокровенным баталиям на уровне чистой формы, в лучах божественного света.

Вы заметили, какие у него руки? Они как будто не его – это не те руки, которых он заслуживает: руки с тонкой кожей, напоминающей ткань перчаток, словно пришитые к этому телу гиганта. Может быть, если бы у него были руки, о которых взывают его душа и тело, – я бы окончательно пропал.

Никогда не прекращать стеречь его, покидать его только ради того, чтобы броситься на его поиски по всем возможным дорогам – и самым заброшенным, и самым оживленным, и самым необычным. Я начинаю опасаться, как бы моя постоянная одержимость его не утомила. И вот я отворачиваюсь – но это напрасный труд: я продолжаю видеть только его, особенно когда смотрю в другую сторону. Я даже часто угадываю, откуда он пришел или куда уходит, хотя ничего об этом не знаю. Демон или ангел, мой сообщник, говорит мне об этом, и как только мои глаза перестают видеть его в реальности, я продолжаю следить за ним мысленным взором и без всякого удивления обнаруживаю его именно там, где он сейчас. Для меня нет большой разницы между периодами его присутствия и отсутствия: экстаз, который вызывает у меня его образ, немногим уступает тому почти религиозному восхищению, которое я испытываю при виде его самого, – если только в конечном итоге страсть не превосходит реальность до такой степени, что обходится без нее или переходит от мечты к обладанию без всяких усилий, не замечая подмены, словно бы никакое развитие для нее уже невозможно и она застывает в неподвижности, в неизменности, в абсолютном.

Зависть, скупость, сладострастие, гордыня, гнев, лень, чревоугодие; разве не позволяет мне то чувство, которое я испытываю к Х., воспарить выше всего этого, над всеми страданиями этого мира, над всем? И в чем же тогда зло?

И вновь я не могу сердиться на себя, когда, лишенный сна, как если бы кто-то другой спал за меня, я чудесным образом перемещаюсь, почти не касаясь земли; вес моего тела, мое лицо, мои

руки позабыты, остается лишь самая сокровенная часть, самая суть моего существа, более истинная, чем я сам.

Неизъяснимое блаженство – жить одним лишь образом, ясным и чистым, как высшая идея, вознесенным над тобой в ореоле золотых лучей; он – центр, к которому стягиваются силы света, рассеивая тьму.

« – Но, дорогой мой, поосторожнее с чудесами. Мы покидаем их родину».

Нет, вы только послушайте!

49

Он оставил нас на целые сутки.

– Дама.

Я смотрел ему вслед, а он об этом не подозревал; мой взгляд провожал его, словно королевский эскорт, пока он не скрылся из вида. Теперь, когда я один, его отсутствие дает мне возможность отдыха, передышки, расслабления. Я могу немного подремать с открытыми глазами.

Невозможно – ничто его не отдаляет.

Я вхожу следом за ним в его дом. У него есть отец и мать, его братья дерутся на детской площадке. Я чувствую, что в ближайшие два дня он не будет смеяться тем заразительным громким смехом, который позволяет себе только наедине со мной, словно мы с ним в сговоре, – смехом, напоминающим Брандебургский концерт, где сливаются пение флейты и рокот грома: флейты Фридриха Великого и грома Иоганна-Себастьяна Баха.

Я шпионю за ним. Он – за мной. Я спрашиваю себя, раздражает его эта игра или забавляет, подыгрывает ли он мне или порой принимает ее

всерьез. Любая драма, любая тень драмы – в том секундном сомнении, которое я испытываю, пока неопределенное выражение его лица не становится отчетливым, низвергая меня в бездну или вознося к небесам.

Кажется, в V., слегка опьянев, я вплотную приблизил свое лицо к его лицу, и он не отстранился. Если я позволил себе такую рискованную вещь – значит, я уже не владел собой. Но он-то не был пьян.

50

N. говорит мне при всех:

– Я весьма заинтригован этими «Дневниками». Но как, черт возьми, вы ухитряетесь все время что-то писать?

Можно подумать, у меня нет личной жизни – и как еще я мог бы, не рискуя показаться невежливым, избегать докучливых сборищ, если не притворяться, что я занят работой?

Имитировать его взгляд, жесты, манеру держаться; и уже в себе самом постоянно регулировать пламя в его глазах, уравновешенность его движений, походки и всего его поведения, – из страха, что кто-то разгадает наш секрет.

Если не произойдет ничего из того, что привело бы меня к смерти, в конце концов нужно будет, чтобы я сам его оттолкнул, чтобы я его потерял, чтобы я утопил его в глубинах своей души, – но я хорошо знаю, что, вопреки себе, я буду хранить

и лелеять его всегда. Гилас?*

Образ Гиласа в обрамлении водорослей, без сомнения, больше не предстанет мне иначе, как искаженный волнами. О мираж! К тебе вновь стягиваются все воспоминания об этом путешествии, ты – их единство, душа, центральная фигура, которая занимает мое сердце. И вот, уже привычно, я снова превратил эту прогулку в путешествие аргонатов.

51

Взойди снова, моя звезда.

Я хочу быть ребенком с ним, быть по-детски свободным – о! ни для чего дурного: только для того, чтобы слышать, как он хохочет, или исполняет в одиночку, но так, как будто это делает разом сотня человек, свою безумную фарандолу, и его невысказанные па свободны от всякого стеснения. В самой его резвости проявляется невинность. Свою официальную роль он обращает в мистификацию, он переворачивает ее, однако смещает только акцент – я хочу сказать, серьезность, – но, в полном согласии со мной, сохраняет сущность. Больше никаких помех. Он горазд на выдумки, и это свойство, сродни врожденной элегантности, позволяет сразу же заметить худшее и избежать его – еще раньше, чем он успел бы скомпрометировать себя связью со мной, он в шутку разыгрывает скандал.

* Гилас – в греческой мифологии прекрасный юноша, любимец Геракла, ставший его оруженосцем и сопровождавший его в походе аргонатов. Во время остановки «Арго» у острова Кеос Гилас отправился за водой, и нимфы источника, очарованные его красотой, похитили его. По другой версии, Гилас утонул.

О, созерцаемые пейзажи! Кто-то ведет меня за руку и раскрывает мне глаза. Если бы его здесь не было, каким бы мрачным все это казалось; сама природа не вызывала бы душевного волнения. Как только он появляется – или хотя бы воспоминание о нем осеняет меня, – я словно восхожу вместе с ним на некое подобие Олимпа, где он предстает передо мной преображенным в божество, чей облик не одинаков всегда и везде – но, поскольку сейчас оно здесь, все вокруг волшебным образом изменяется, и вот мой взгляд перестает быть пустым, а окружающий пейзаж – пустынным.

Это добровольное взаимное игнорирование, с которым уважение друг к другу обязывает нас держаться на людях, возбуждает наше любопытство, подстегивает нашу смелость, умножает наши опасения, усиливает страх, придает величие. Никогда не знаешь, напускная это холодность или настоящая, наигранное это безразличие или искреннее, нравится твое поведение или нет. Может быть, я слишком сдержан? Я говорю себе, что, возможно, это его беспокоит, что он чувствует себя одиноким, покинутым. Или, напротив, я чересчур нескромен, и это может его скомпрометировать? Каждый шаг меня ранит. О, эти благословенные сердечные терзания! Священный ужас друг перед другом, заставляющий позабыть о безопасности и украдкой приносить друг другу немые обеты, в которых религиозный пыл сочетается с глубочайшей сокровенностью – словно мы изобрели особый язык, который позволяет нам понимать друг друга, даже если мы полностью этого не осознаем.

Я – коленопреклоненный даритель на боковой створке триптиха, и Бог раздвигает облака, чтобы появиться в центре мира, который лопается, как спелый плод: *latens deitas*.*

«Бог – не христианин. Бог – не только христианин. Бог не чужд никакой религии. Бог не чужд моей страсти».

Именно в этом «Дневнике» я говорю с ним, здесь – тайное место наших ночных свиданий. Конечно, это всего лишь монолог, но если он и не отвечает на мои слова – он их слышит.

Мое зеркало отнюдь не придает мне уверенности – но несмотря на это, хватает даже небольшой настойчивости с моей стороны, чтобы все обернулось в мою пользу. Однако страсть для меня – это прежде всего самоотречение.

Разумеется, я слишком хорошо знаю цену своему шарму: дело лишь в крайней степени моего лихорадочного возбуждения и в необходимости подолгу его обуздывать.

Впрочем, если бы я заполучил X., то что бы я делал с ним и с собой перед ним – со своими руками, со своим взглядом? В таких случаях я всегда чувствую замешательство; я бы мог держаться свободно лишь перед Богом.

Мне достаточно сознавать, что если бы в конце моей безумной погони он оказался передо мной – затравленный, загнанный, сдавшийся на милость победителя, – в тот момент я и сам ощутил бы себя

* «Боже сокровенный». Слова из первой строчки евхаристического гимна, авторство которого приписывается Фоме Аквинскому: *Adoro te devote, latens Deitas* – «Поклоняюсь тебе благоговейно, Боже сокровенный».

таким растерянным, обескураженным, нерешительным, что у меня хватило бы сил только на то, чтобы сказать ему что-нибудь банальное и отказаться от него.

54

В девять вечера мы на пороге сталкиваемся с Х., который вернулся из Р. и собирается везти нас в Z. Кто-то объявляет мне, что поскольку там мало места, я разделю комнату с А., а N. – с G. Мы с N. не хотим размещаться с какими-то незнакомыми людьми и решаем поселиться вместе.

После этого я отвожу Х. в сторону и спрашиваю, могу ли я пять минут поговорить с ним наедине. Вид у него тут же делается раздраженный, высокомерный и суровый; он бросает мне:

– Нет, не сегодня. Уже слишком поздно.

– Слишком поздно? Всего пять минут!

Я непроизвольно касаюсь своего лица, как будто получил пощечину, и запираюсь у себя без ужина. К собственному удивлению, сколько я не ищу гнездящуюся внутри боль – я ее не нахожу. Я пытаюсь почувствовать себя отчаявшимся – по крайней мере, показаться таким самому себе – но испытываю только легкую грусть (или, может быть, мое отчаяние настолько велико, что я просто не способен его почувствовать – оно выходит за пределы моего восприятия?). Я даже испытываю, наряду с грустью, чувство освобождения, – словно сбросил с плеч тяжелую ношу, настолько тяжелую, что я почти счастлив, по крайней мере, скорее радостен, чем печален. Это самообман или реальность? Я говорю себе, что если я до такой степени был одержим Х., то не оттого ли, что мне нужно было чем-то заполнить пустоты и провалы этого путешествия, чтобы чем-то занять досуг,

или, скорее, привязаться к чему-то постоянному на фоне сменяющихся пейзажей, улиц и лиц. О Пресуществление, ощутимое так же явственно, как на святом причастии в капелле нашей галеры! Если уж начистоту, спрашиваю я себя, – ведь кто угодно другой мог бы оказаться на его месте? – Нет, ни в коем случае! Мне слишком дороги минуты размышлений и созерцаний, которые я пережил благодаря ему.

55

Девять вечера. Даже не понимаю, хочется мне смеяться или плакать. Огромная пустота, в которой смутно различается удаляющийся силуэт – он уходит, не оборачиваясь, – и вот я уже не чувствую больше ничего, только одиночество и оторванность от дома. Я вдруг впервые это осознаю: он заменял мне дом.

Снотворное начинает действовать; сколько же искусственных средств создано для того, чтобы можно было жить! В виске нарастает колющая боль, обычная предвестница мигрени, но на сей раз – сна. Я проваливаюсь в забытие, словно оглушенный ударом кулака. Браво.

Однако буквально за секунду да того, как заснуть окончательно, я вздрагиваю, осененный внезапной догадкой – словно яркая вспышка молнии разрывает ночной мрак: «В конце концов, кто тебе сказал, что это не он устроил все таким образом, чтобы вы смогли оказаться вместе? Что это не он поместил тебя в одну комнату с А., своим близким другом, – чтобы встретиться там с тобой?

А ты отверг этот дар – да еще с каким презрением! Вот потому, что ты расстроил его планы, он и отказался уделить тебе пять минут для разговора – с подчеркнутым высокомерием». Ну что ж, тем лучше! Я предпочту вовсе не быть счастливым, чем быть им такой ценой! Никаких трюков, никакого промискуитета! Тридцать лет безумств не умалили моего достоинства. Оказавшись под благородной эгидой N., я буду спасен! Я не собираюсь делить комнату с А. в Z. – даже ради того, чтобы встретиться там с X.

Нет, какова бы ни была моя страсть к X., я не пойду к нему каким угодно путем, через чьи угодно руки.

Слова, которые я слышал у себя в деревне, кружатся нескончаемым хороводом по огромному пространству моей бессонницы: *gnadre, coucher a la barre, le nialou.*

Одиннадцать часов десять минут. Кофе, который я выпил в пять часов, меня разбудил, а «серенол», который я принял в десять, пытается погрузить меня в сон. Я чувствую, как сон окутывает меня, но не может проникнуть мне в сердце. Сердце?.. Ах, если бы дело было только в кофе, – тогда большая доза «серенола», вероятно, уже подействовала бы. Но дело в X. – и в моем внутреннем диалоге, который все продолжается: «Это моя вина? Или его? Кто в ответе за постоянные недоумения между нами? Я или он? Его гордыня – или моя?

Я смешон, затеяв эту дуэль и потерпев сокрушительное поражение. Спасти меня может только жестокая месть. Но как я смогу заснуть, если ищу способ отомстить и не нахожу? И тем более – когда его найду?

Он, возможно, все еще присутствует в моей душе; поменялся только знак – с плюса на минус. Пусть мне никогда не говорят больше об этом человеке – или говорят только как о цели, которую нужно поразить. Око за око.

Но с чего я вдруг закусил удила? Разве я не получал от него все что хотел, почти сразу, стоило мне захотеть?

Пора образумиться. Эта авантюра имела смысл только на время путешествия. Х. был моим предсмертным причастием. Теперь – иные берега, иные страны. Теперь я, в свою очередь, повернусь к нему спиной – и может быть, если он выдержит это испытание, он еще не раз будет пытаться поймать мой взгляд; на всей земле он не найдет человека, который примет его так, как это сделал я; если он поймет, что утратил, он будет на краю могилы от отчаяния и сожаления – приговоренный мной, сам того не зная, к своего рода изгнанию.

57

Если я говорю о нем, значит, он не умер для меня. Страсть все еще живет во мне, хотя и притворяясь несуществующей. Гилас уже спустился к ручью, но по-прежнему несет амфору на плече. Он еще не переступил смертельную черту; несколько шагов отделяют его от нее. Ревнивая Медея еще не убила своих детей. Все это пока только носится в воздухе, предчувствуется, но роковое предназначение должно свершиться. К тому же моя губа, которую я вчера сильно поранил во время бритья, все время болит... И сон не приходит ко мне... Половина первого ночи. Только время от времени я, кажется, ненадолго проваливаюсь в забытие, но лишь для того, чтобы с криком очнуться; едва заснув, я вижу во сне, что я умер, и этот ужас смерти всякий раз меня пробуждает.

Встречи «всех со всеми» – самое тяжелое испытание для того, кто привык к встречам один на один.

58 Рука, столь драгоценная для вас, в одно мгновение сталкивает вас в бездну, в небытие! Но неужели я не дал ему всей полноты власти надо мной? Неужели он может почувствовать себя свободным, лишь ненадолго избавившись от меня? Но я все еще надеюсь, что Судьба не на его стороне. Если это не так, я готов его простить. Но если он действует самостоятельно, я укушу его за руку, чтобы привести в ярость.

Избавиться от меня с такой небрежностью – после того как я встретил его с такой радостью? Ни разу на протяжении двух недель я не отказывал ему ни в чем – и вот, когда я в первый раз о чем-то попросил, всего о каких-то пяти минутах, он ответил:

– Слишком поздно.

Эти слова – как приговор Судьбы, как предписание обстоятельств. Мне кажется, что их проносит не он, а какой-то могущественный подземный бог, и означают они не то, что кажется на первый взгляд, а нечто иное – что все кончено; что завтра утром занавес поднимется уже над другим миром; что Z. это Z. и Z. – это могила; что первая, интимная часть этого путешествия закончена; что отныне кругом будет полно народу: больше места для поэзии. Изыди, волшебство – уже слишком поздно.

Половина пятого утра. Сердце по-прежнему колотится как барабан. Решительно, «серенол» бессилен против кофе, особенно если кофе приправлен большим несчастьем. Однако я не чувствую себя

ни жалким, ни униженным, ни слабым – напротив, я ощущаю гордость. Меланхолия окружает меня крепостной стеной. Мужественность, торжествой! Ко мне, герои! Берегитесь, миньоны!

Уж если я заслуживал четвертования, – мне, конечно, стоит радоваться, что я всего лишь несчастен.

За каждым поворотом жизненного пути нас ждет возможность стать участником драмы, но в чем она воплотится – в адской машине или любовной интрижке? Будет ли это трагедия или комедия? Все зависит от нас.

59

Я больше не горю как в лихорадке. Я даже чувствую освежающую прохладу – и внутри, и вокруг меня; без сомнения, мне вновь предлагают вернуться к моей попытке и получить от нее наслаждение.

Нужно лишь, чтобы я каждые пять минут останавливал мановением руки – осторожно, без ненужной поспешности, – попытки Демона снова облачить меня в отравленную тунику, от которой я уже освободился.

Мне давно стоило бы понять, что в жизни есть и другое, помимо такого рода переживаний. Уже давно мне стоило бы покончить с ними. Беллерофонт и Химера!

Вначале еще можно позволить себе удивление, затем волнение; но, распознав монстра, – неужели я умру, не победив его? К счастью, я не прекращаю сражаться с ним, и усилия, которые я ему противопоставляю, облагораживают мою жизнь, которую лишь его присутствие делает жалкой.

Ах! главное – не смотреть в ту сторону.

– Полно, полно, у меня еще остается последняя карта – и кто вам сказал, что это не козырной туз? При всей своей утонченности, разглядел ли Х. тот нюанс, который отличает меня от остальных? Нет, все еще нет. Однажды он это поймет, и тогда настанет его очередь услышать, что уже слишком поздно.

60

Поскольку я ношу рану в самом центре лица (бреясь, я поранил верхнюю губу так сильно, что мне пришлось обращаться за помощью, чтобы остановить кровотечение), я и сам чувствую себя сплошной раной – она как будто всегда впереди меня, между мной и моим лицом, между мной и другими, между моим лицом и Х.; и именно ее все, в том числе Х. и я сам, видят в первую очередь, еще прежде, чем увидят меня. Словно бы я захотел растравить, оживить, обновить ту метку, которую носил на себе еще в утробе матери, и даже раньше – в Божьем замысле; но если я был сотворен меченым, не значит ли это, что нужно меня остерегаться? Мой совет: бойтесь меня! Иногда я сам себе ужасаюсь.

Среди своих частью уложенных, частью разбросанных вещей, которые скоро будут вынесены из этой пребывающей в полном беспорядке комнаты, я сижу и смотрю на себя в зеркало: точно такой же беспорядок отражается на моем лице, и по ту, и по эту сторону!

Кто-то собирается уезжать.

Комната и душа сдаются внаем.

Кто займет эту комнату, в которой я провел три бессонных ночи? Никогда больше я не увижу этих четырех стен, даже если вернусь в этот город. В память обо мне останется, быть может, какая-то часть моего смятения, из-за которой больше никто и никогда не сможет здесь уснуть.

А кто заменит «Его» во мне?

Пустота.

Пустота во мне и вокруг меня.

Может быть, у меня еще найдется порох в пороховницах, чтобы умереть со славой? Смерть – надежный исход, но если она столь же бессильна против жизни, как «серенол» против кофе, то у меня будет против нее иммунитет. В сущности, умереть означает просто исчезнуть, по крайней мере, для других – как я сделал вчера вечером, запершись у себя в комнате.

Уходят, чтобы сжигать себя заживо в одиночестве, без свидетелей.

Ф. навестил меня сегодня утром и нашел, что у меня «меланхоличный» вид. Понятно, что он хотел этим сказать. Он наблюдателен, он заметил, куда шли сигары и все остальное.

Подумать только, даже самое уединенное существование – чуть ли не государственное дело, требующее дипломатического вмешательства.

Сегодня утром я пою, но это не столько пение, сколько стенание, погребальный плач, молитва. Тот, кто услышал бы меня, скорее всего, благо-разумно посоветовал бы мне умереть или уйти в монастырь.

А если бы я был безногим или прокаженным, и мои чувства были бы теми же самыми – на что тогда я мог бы претендовать?

62

В каждом из нас два существа: одно – то, которое все видят и которое носит наше имя, другое – скрытое, таинственное, о котором никто не знает. Мне кажется, любить кого-то – означает найти дорогу к его тайному, неведомому существу, и причина всех трагедий – недоразумения, неизбежно возникающие из-за противоречий между двумя этими сущностями, которые проявляются то по очереди, то одновременно, без всякого предупреждения; часто одна из них маскирует другую, и более заметная не есть более реальная. Эти взаимные противодействия по большей части нас раздражают, но иногда нам нравятся. Кокетство распаляет желание – и обманывает его или не оправдывает ожиданий. Страсть взрывается в случайных грандиозных столкновениях, когда после долгих блужданий по космическим орбитам светило, которым является каждый из нас, вдруг появляется во всем своем великолепии, не в силах разом умерить свое сияние.

Пришло письмо от Элизы.

Как ответить на ее доносящийся издали ясный зов, на ее требования? Мой отдых и моя радость – там, возле нее, и сейчас я ощущаю теплоту; на мгновение я почувствовал себя таким близким к ней, каким никогда не буду по возвращении.

Кажется, я становлюсь другим. Меняю оковы, не сожалея о прошлом.

Х. все с большей серьезностью относится к себе – «считает себя Лораном», как я это назвал. Я чувствую себя одиноким, существующим отдельно от других подобных мне существ, и рад тому, что предоставил его самому себе. Вот он горделиво выступает передо мной, украшенный перьями, которые я ему одолжил. Он мнит себя неотразимым, в то время как я постепенно отдаляюсь от него: это моя месть.

Я устремляю взоры на свой дом, где время относит меня вспять, словно каравелла мечты.

Х., возможно, достаточно уважает меня для того, чтобы не совершить подобного разоблачения, которое опозлило бы все, что было между нами, – но, кажется, А. проявляет слишком сильное любопытство к тому, что касается меня, чтобы суметь склонить его к откровенности, – если они близки до такой степени, как я подозреваю.

Уехать, уехать – я больше не мечтаю ни о чем другом. Точнее, я думаю о прямо противоположном – вернуться домой, вернуться к себе.

Суббота, отчаяние; я чувствую себя запертым в клетке, в тюремной камере, я пью одну таблетку за другой, чтобы заснуть. Если бы у меня не было надежды провалиться в сон, я бы не выдержал. Напрасно я старался порвать со всем и вся – дело приняло скверный оборот. Безразличие со стороны Х. ничего не значит, я к нему привык; но как вынести его внезапно вспыхнувшую злонамеренность?

В этот вечер он публично унизил меня.

Х. собрал гостей, из числа которых меня исключили в последний момент, под предлогом того, что если приглашать меня, то нужно звать и Т., а он «не внушает доверия». Итак, ради того чтобы не обидеть Т., пожертвовали мной. К несчастью, я забыл ключ и в результате столкнулся на лестнице с нашими заговорщиками, крадущимися на чердак. Х., от которого не укрылось мое отчаяние, позволил себе дурацкую выходку: проходя мимо меня, он сверкнул глазами и зашипел, изображая кота.

Словно несчастный загнанный олень, с полными слез глазами я вновь погрузился во мрак.

Хорошо, что это конец – моя гордость затравлена. С одной стороны – эта ликующая молодежь, с другой – старики-резонеры. Я не настолько молод, чтобы присоединиться к первым, и не настолько стар, чтобы составить компанию вторым с их почтенными маниями, объединенными или противостоящими одна другой; и вот я остаюсь один в своем углу, который, по мере того как я в нем обживаюсь, все больше щетинится клинками мечей и остриями копий, словно надгробие Регула, так что я не могу сделать ни одного движения без того чтобы пораниться и не могу подумать о чем-то, что не вызывало бы мучительную боль.

Решительно, я никогда раньше не встречал Чудовище столь совершенное, столь утонченное и одновременно столь безжалостное и непреклонное, каковым является Х., который никогда не говорит ни да ни нет, который делает в точности то, что нужно, чтобы ваша жизнь застыла и вы с каждой минутой становились все ближе к смерти: какой талант учителя, изобретающего – без кон-

кретной цели, только из любви к искусству – разные виды пыток, включающих в себя и периоды полного равнодушия, для всех своих жертв! Он гонится за столькими зайцами одновременно, что большинство из них становятся его добычей. Он браконьерствует лишь ради забавы, испытывая мимолетное удовольствие, когда на бегу заметит вас, бьющегося в его силках; но если вы случайно не попадетесь ему на глаза, он даже не возьмет на себя труд специально вас отыскивать.

65

Он прочитал несколько страниц моих «Дневников» и небрежно бросил мне в качестве комплимента, что я «поэт». Что он хотел этим сказать? Я забочусь о своем внешнем виде, только чтобы ему угодить; но когда речь идет о моем сердце – это совсем другое дело. Единственный представитель своего вида, оказавшийся среди волков, я бреду на ощупь, ослепленный, оглушенный, с памятью, помраченной силой моего чувства – но оно вливает в меня силу, которая становится моей, становится мной самим, и я не позволю X. использовать себя, вытянуть из меня силу, чтобы я уже никогда не смог подняться.

Половина одиннадцатого. Компания вовсю веселится на чердаке. Я один у себя в комнате. Кто-то звонит, чтобы узнать, где я – не здесь ли? Спустя минуту ко мне заходит N., слегка встревоженный, но не видит меня под грудой одеял, возвышающейся как надгробие. Когда он заходит во второй раз, то говорит, что все очень смеялись над его заверениями, что я испарился, хотя совсем недавно разговаривал по телефону с S. Моя репутация призрака

подтверждается. Он спрашивает, как мне удастся одновременно находиться в двух местах или становиться невидимым и неслышимым одновременно. Теперь все думают, что мы с N. сговорились: он солгал, что не застал меня, а я – что был один; некоторые уверены, что на самом деле у нас было свидание. В это я и хотел заставить их поверить, и преуспел даже без всякой лжи. Это моя месть.

66

Разыграно как по нотам: меня изгоняют, чтобы повеселить остальное собрание: «Раз уж M.G. и так не здесь, то ничего ему не сделается!» – ну или наоборот, результат все равно тот же. Но M.G. ни здесь, ни там. Без сомнения, он лежит под одеялом, размышляя о вещах, недоступных правителям и шутам, хотя надменная серьезность первых забавляет его не меньше, чем легкомысленность вторых. В нем есть нечто трагическое, непредсказуемое, несвоевременное, не соответствующее обстоятельствам; тот, кто его отвергает, тем самым его изолирует, и он остается в одиночестве, окруженный лишь сияющим ореолом. У него своя трагедия, своя судьба, свой крест, который он несет в одиночестве и о котором никто не подозревает, – хотя наряду с этим он не оставляет своим вниманием дела и заботы других.

X. все более и более холоден, надменен, отстранен, загадочен. Ах, если бы я раньше знал! Но чтобы узнать, нужно было совершить рискованный шаг – и я решился. Теперь я знаю: его невозможно подчинить. Это он подчиняет вещи и людей. Я в его власти, поскольку ему известны границы моих возможностей – но и мне известны его границы.

Но, по крайней мере, одно можно сказать с уверенностью: сейчас я свободен хотя бы в той мере, которая позволяет мне видеть его таким как он есть – иначе говоря, куда более незначительным, чем казалось мне раньше, однако в то же время и более сильным: он – функционер, чей шарм – основной путь к достижению целей; и он же способен восхищаться Фридрихом Великим до такой степени, чтобы порой вставать ни свет ни заря только ради того, чтобы поиграть на флейте.

67

Если время от времени он позволяет себе и вам некоторую вольность, он пьет, а когда напивается, то ничего не помнит. Иногда он уделяет мне минут пять для разговора наедине, но, возможно, делает это либо «по долгу службы», либо из любопытства, либо из вежливости.

Я разыгрывал перед ним великолепный спектакль на тему дружбы – а он демонстрирует мне пародию.

Еще раз, при обстоятельствах почти невероятных, я был собой – иначе говоря, был обманут чужим очарованием и своим собственным сердцем.

Может быть, он опустился до того, чтобы смеяться надо мной. Что ж, тем хуже для него!

В той мере, в какой я испытывал страдания, – я был искренен, и я себя уважал.

Отныне я возвращаюсь в свою башню, откуда буду наблюдать за его появлениями и уходами.

Он меня больше не очаровывает.

Невозможно видетсья и спокойно разговаривать; скорее даже, невозможно видетсья и разговаривать вообще. Ничто так не похоже на объявление войны, как чувство до такой степени не-

истовое, что оно способно полностью разобщить двух существ. Теперь мы встречаемся лишь по самым необходимым или незначительным поводам, и эти встречи носят характер дипломатического протокола или религиозного обряда. Мы отказались от своего особого шифра, ключом к которому, возможно, была некая тайная сила, тем более могущественная, чем более мы были ее достойны, в те времена, когда выбирали не проторенные дороги, а скрытые от остальных нехоженые тропы.

Без сомнения, если я ненавижу его, это означает, что я по-прежнему им одержим; мне необходимо найти занятие для души, которое помогло бы мне отвлечься, переключиться на другой объект, мысли о котором не будут преследовать меня каждую минуту и волновать меня сверх меры.

Вчера маркиз де М. сказал мне:

– Теперь у меня пред глазами только деревья, пшеница и стада, о которых я забочусь. Вот что может спасти человека.

А я – в чем мне отыскать свое спасение?

Я мечтаю порвать с ним, пусть даже буду страдать от последствий.

О! эта манера подавать мне руку, принимать меня сегодня утром, обращаться со мной как со слабоумным! Я исчерпал все свои средства.

Однако порой мне кажется, что я, когда захочу, могу опутать его внутри и снаружи множеством нитей, которые ничто не сможет разорвать, и что мне достаточно лишь поднять мизинец, чтобы ту же стянуть петли, и опустить его, чтобы их ослабить. Так или иначе, в какой-то мере я управляю им, как птица управляет змеей, которая хочет ее зачаровать: кто из них в действительности повелевает?

Сильное чувство превращает в статую – даже в собственных глазах – того, кто его внушает.

Х. больше не может свободно двигаться передо мной – он держится скованно, словно парализованный моим присутствием, и за эту скованность злится на меня до такой степени, что начинает смеяться надо мной – но эти насмешки не помогают ему освободиться.

Я держу его тело в плену своего взгляда, который заставляет его каменеть.

69

Что происходит в нем? Не я ли подверг его необходимости причинять мне боль – как если бы он не мог больше ни свободно держаться со мной, ни объясняться иначе как отрывистыми междометиями или короткими резкими словами, когда обращается ко мне? Заметил ли он, что превратился в камень? Он лягается и встает на дыбы, чтобы освободиться, он хочет меня ударить, поколотить, заставить исчезнуть.

Тем лучше.

Чрезмерность вашего чувства неизбежно вызывает в том, кто является его объектом, повышенную или, по крайней мере, равную по силе сдержанность, ему противостоящую. Это автоматический защитный рефлекс. Почему же меня это удивляет? Меня всего лишь приглашают умерить пыл и гореть на медленном огне.

Конец дня. Конец путешествия. Конец всего.

Я случайно заметил обмен ироническими взглядами между ним и R. – безразличие с моей стороны, почти откровенно невежливое, было воспринято обоими как явная агрессия.

Чтобы меня вернуть, X. стал подчеркнуто внимателен ко мне, и я имел слабость позволить, чтобы новый день начался под знаком его триумфа.

70

Несколько любезных слов перед автомобилем, который скоро унесет его от меня навсегда, – и я возвращаюсь к себе, даже не дожидаясь его отъезда.

Один за другим все наши спутники также разъезжаются; и вот я остаюсь один, и еще долгое время в толпе незнакомых прохожих мне чудятся лица тех, кто неделями сопровождал нас в путешествии, и особенно X. Едва заметная черта тут же вызывает в памяти весь его облик, моя тоска завершает портрет полностью, и какое-то время я мысленно созерцаю его; но нет, вскоре более тщательный взгляд или логичное суждение разрушают эту химеру.

К счастью, в глубине души я вновь обретаю мою Элизу – но какого же труда стоит ее вообразить! Годами мы не разлучались, и вот мое внезапное долгое отсутствие разрушило все мосты между нами и стерло из моей памяти ее лицо; я словно никак не могу найти дорогу к ней. Все предстоит воссоздавать заново: ее жесты, ее голос – все ускользает от меня. Это порождает во мне жгучее любопытство: по сути речь идет о новой, незнакомой женщине – настолько я успел забыть и ее тело, и ее душу; но встретиться с ней означает открыть ее для себя заново. Насколько мне неизвестно все, что ее составляет, все, что ее касается, – настолько

же она меня притягивает. На сердце у меня становится спокойно и светло, когда я думаю о ней. Я вспоминаю, что она говорила в письме: что наш дом – это все, что у нас осталось неизменного, а все остальное неопределенно; но что этот дом – надежная пристань, то, что дает ей опору, веру в себя, отдохновение.

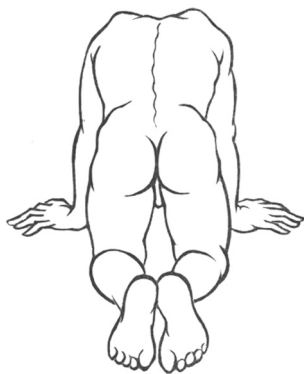
Когда я оглядываюсь на это путешествие, у меня такое чувство, что мне чего-то недостает. Может быть, причиной тому усталость и одинокое существование, не дающее избавления от моей одержимости. Незаметно для меня в моей душе возникла трещина, в которую утекают жизненные силы, словно какая-то слабо мерцающая субстанция, и я ничего не могу с этим поделать, разве что попытаться замаскировать свою рану, чтобы только по-настоящему заинтересованный человек мог ее заметить; привычный к галопу всадник отныне вынужден спешиться и медленно двигаться вместе со всеми.

71

Только избыток внутренней активности позволяет мне держаться на ногах; так же, как способность создавать загадочные шифры. *Ineffabile individuum*.*

* Отсылка к средневековой схоластической формулировке – *individuum est ineffabile* («индивид есть (нечто) непознаваемое»).

ТИРЕСИЙ



Особенность этого прорицателя в том, что, родившись мужчиной, он превратился в женщину, а затем вновь принял свою изначальную форму. Такое изменение было вызвано очень простой причиной. Однажды он встретил двух переплетающихся змей и, отважившись разнять их, обнаружил, что стал женщиной. Семь лет спустя, повстречав их вновь и сделав то же самое, он получил свои мужские признаки обратно.

Когда позже он попытался убедить Зевса и Геру, что женщины испытывают от любовного соития больше удовольствия, чем мужчины, богиня наказала его за болтливость слепотой, но Зевс наделил в утешение светом разума и неизменным даром предвидения.

РИШАР

Я хотел его до такой степени, что, не в силах завладеть им, отдавался кому попало с мыслями о нем, но Господь смилостивился надо мной. Я наткнулся на мальчика еще красивее и тоже лет двадцати – чернокожего гиганта с пышными перламутровыми бедрами и светло-серыми глазами, которого по чистой случайности (хоть это и невероятно), также звали Ришар.

– Значит, я – первый Ришар, которого ты *имеешь*, – сказал он.

– Для меня очень важно имя..

– Для меня тоже.

На его синем пуловере были вышиты красный лев и желтый леопард, и я попросил не снимать его какое-то время. Мне нравилось, когда мы были вдвоем голые, с этими хищниками между нашими сердцами.

Сняв эту последнюю одежду, он вытянулся на спине во весь рост, наполовину раздвинув ноги, а я встал на колени рядом с диваном, и мой взгляд оказался на одной линии с его телом, которое чудилось мне разрезанным – великолепным. Какой роскошный, восхитительный ракурс! Похожий есть у одного ученика Микеланджело.

Я сказал:

- Можно тобой полюбоваться?
- Кому не нравится, когда им любят?
- Даже думая о другом?
- Клянусь, что, выйдя отсюда, вы забудете о нем навсегда.

Волосы рисовали на его золотистых ляжках черные розы, какими усеяны ляжки Малатесты и какими покрыта шерсть пантеры: в тот миг, когда я обратил на это его внимание, он бросился на меня и укусил за плечо. Я тщетно пытался обороняться, но он перевернул меня и впечатался лицом в мой затылок, так что я увидел его лучше, чем если бы смотрел в упор, и вдруг, не понимая, как это произошло, почувствовал, что в меня уперся его член. Затем, пока он держал меня, убежденный, что я уже не вырвусь, у меня под мышкой показался его рот – чувственный и мясистый, как лопнувший гранат.

77

Никогда раньше я не ощущал самого пленительного удовольствия и самой жестокой боли одновременно. Мне было безразлично – жить или умереть, и я сказал ему об этом, ведь пытка и наслаждение взаимно усиливают друг друга. Под конец я забыл о пытке ради наслаждения.

– Боже, – прошептал он, – какой узкий проход!

– Боже, – воскликнул я, – какой требовательный и твердый прохожий, и какой у него торопливый и тяжелый эскорт!

– Я порвал твое кольцо, так не проси у меня пощады. Эту приятную боль ты впервые познал благодаря мне? Прими ее так, словно мой жезл наделил тебя вторым полом.

После этих сакраментальных слов наши губы слились, и последовал страшный натиск – в два раза сильнее: мы скатились с кровати на паркет, где больше нельзя было отличить его конечности

от моих и где мы превратились в странный клубок перемешавшихся корней. Едва я приоткрыл глаза, пытаюсь прийти в чувство, как мы душераздирающе вскрикнули в один голос: его сладость растекалась внутри меня, а моя затопила его ладони.

– Значит, – сказал я, – ты сделал так, что теперь я – не только мужчина. Тиресий! Тиресий!

– Неужели ты столь долго ждал этой метаморфозы?

78

Я рассказал ему, что года в двадцать три мне попался необыкновенный мальчик, выступавший в роли женщины. Я называл его «Ртом из слоновой кости». Мы встретились во «Французском театре» в день премьеры «Багатель»*. Тогда я был еще не знаком с пороком, и мальчик приобщил меня к содомии, но занял подчиненное положение. Целый год мы прожили вместе, и он во всем походил на любовницу. Но как-то вечером мальчик получил телеграмму из Бонна, которая заставила его уехать из Парижа – вероятно, надолго, а возможно, и навсегда. Я надел ему на палец *рубин* в обмен на *опалы*, которые он подарил мне, несмотря на то, что никогда не снимал их с руки за время нашего романа. Мы в последний раз занялись любовью по нашему обыкновению, как вдруг его глаза бешено загорелись, и он набросился на меня с дикой, звериной необузданностью. Без предупреждения, подготовки и малейших церемоний он подчинил меня себе, заставив поменяться ролями, словно хотел оставить на мне перед разлукой свое клеймо, неизгладимую печать. Увы, я промучился больше года, и отвращение к этому поступку всю жизнь мешало мне считать его приятным.

* Комическая опера Ж. Оффенбаха (1874). – Прим. пер.

Мы с Ришаром видимся по четвергам. Отныне я живу от одного четверга до другого, и это напоминает блуждание по туннелю в поисках Света.

Я почти не осмеливаюсь двигаться и дышать из страха что-либо нарушить, затормозить деликатный механизм, который обеспечивает бесперебойную работу всего мира. Если в его или моей жизни произойдет что-то непредвиденное, если его или мои часы вдруг начнут немного спешить либо отставать, мы рискуем больше не встретиться! В обстоятельствах, диктующих его и мои шаги, стоит вкрасься какой-нибудь помехе, и наше приключение завершится.

79

Я знаю лишь его имя, а он – мое. Мне известно, где он караулит меня с полтретьего до трех, в определенный день недели, и это – все. За пять минут до моего прихода его могут похитить. Он так красив, что в промежутке может найти кого-то милее, чем я! Почему же я так колебался, перед тем как назвать ему свое имя? Наверное, свобода по-прежнему дороже для меня. Только не сейчас. Как трудно сохранять равновесие! Хочется оставаться независимым, несмотря на то, что уже стал рабом.

Сегодня получил вести от Жан-Жака, малыша Луи и Ришара I. В душе – целый хоровод из моих мальчиков!

В Ришаре II меня очаровывают житейские мелочи. Например, он рассказывает, что, как бы поздно ни возвращался вечером с праздника, камердинер его любовника никогда не ложится, поскольку ему приятно укутывать мальчика в постели. (Любовник, содержащий его по-царски, сейчас в отъезде.)

На шее он носит старинный массивный золотой крест, белье поставляет ему продавец рубашек

для английского короля, и каждый четверг около трех он ждет меня посреди сутенеров, которые однажды убьют его, чтобы снять шелковые носки, не забыв прихватить и все остальное.

Он настолько любезен, что не скрывает удовольствия, получаемого от наших игр. Нет даже секундного подозрения в шантаже, самодовольстве или усталости.

80

Красота его достигла как раз той степени возмужалости, которую я ищу: где-то на полпути между юношей и зрелым мужчиной. Мужественности в нем больше, нежели изящества, он волосат, но эти волосы, разросшиеся по всему телу, мягкие, тонкие и редкие, нисколько не затмевают и не утяжеляют его округлости. У него всегда такой вид, будто он только что из ванны.

В любви между мужчинами меня занимает механическая сторона жестов, холодно-символическая сторона операций, когда сосуды сообщаются и член охотно принимает вид перегонного куба для опытов, не чуждых неким таинственным исследованиям, наподобие алхимии. Это алхимия Наслаждения.

Почему я не вправе позволить ему заполнить собой Все и должен видаться с ним, моим Солнышком, лишь раз в неделю? Дисциплина светил, ведающих о том, что они могут делать вместе и на каком расстоянии обязаны держаться, дабы не уничтожить и не сжечь друг друга, а еще долго кружиться за компанию. Совместное движение – величайшее чудо, если строго следовать Закону, призывающему беспрестанно колебаться между высшей смелостью и сдержанностью, не уступая полностью ни той, ни другой.

Когда моя рука сжимает горлышко его тыквы, полной молока, он закрывает глаза, точно голубь, которого душат.

Еще долго после нашей близости я стараюсь не трогать себя, опасаясь стереть его следы. Слышно, как за перегородкой сутенеры играют на деньги.

Я:

– А мы на что играем?

Он:

– На жизнь.

Ришар:

– Да, твое Солнышко будет преданно пронзать тебя своим лучом каждый четверг – уговор дороже денег.

Из уважения к нему я бреюсь перед самой встречей. Неважно, что мне выделен лишь час в неделю. Все остальные, в другое время – не в счет.

Как приятно наткаться ладонью на тяжелые плоды могучего Древа, чьи корни прячутся в нем, а крона – во мне! Эти плоды висят у нас по бокам, и уже непонятно, чьи они – его или мои, как неизвестно и то, за что сильнее держится любое дерево – за Землю, где оно укоренено, или за Небо, в котором распускается.

Больше всего я наслаждаюсь той минутой, когда его искаженное лицо бледнеет, а свирепая жестокость сменяется в нем сладостной истомой.

Он всегда уходит незаметно: так растворяются призраки. Он был таким реальным – и вот его больше нет. Когда же он успел выйти? Я ищу его глазами, но его форма остается во мне, а влажный голос еще долго говорит мне на ушко, хоть его и нет рядом.

Если я говорю, что его форма – во мне, это не метафора. словно почва, недавно вспаханная лемехом, плоть моя еще долго трепещет, сжимаясь после заковки. Это беспокойство не сравнится ни с чем. Оно возвращает мне свежесть первых эмоций. Выражение моего лица уже не такое, как прежде.

82

Я всегда буду помнить свое бледное тело. Вчера, подняв ноги, как на «Снятии с креста» Рубенса, оно скользило вдоль его тела, более темного: мое такое щуплое и стройное, а его – покрупнее, коренастее. Вскоре его голова расцветала между моими ступнями, а на другом конце кровати он сжимал мне виски лодыжками, мы опрокидывались в пустоту – я снизу, а он сверху, долго раскачиваясь с восхитительными гримасами, которые вмиг расправляются, когда он вскрикивает, и в ответ я рыдаю от счастья.

Просыпаясь ночью, я боюсь собственного тела. Я еще не привык к тому, что с ним происходит. Сначала возникает удивление, которое затем сменяется каким-то восхищенным оцепенением или страхом. Тиресий! Тиресий! Как обратиться вспять, как предотвратить последствия этой церемониальной магии? Тридцать лет спустя я превратился в женщину, хотя всю жизнь отвергал это и даже представить себе не мог! Я смеюсь при мысли о том, что мои бедра служили для телодвижений, которые сейчас больше не доставляют мне таких же чувств, как еще пару недель назад. Я, конечно, мужчина, но в то же время женщина. При виде меня мужчины невольно чувствуют беспокойство, которое передается и мне.

Мне хочется останавливать прохожих и просто душно рассказывать им о своем приключении:

– Ах, если б вы знали, что со мной творится!

Мои члены пахнут новым потом, с которым я пока не свыкся: он не такой кислый. Мой костный мозг и кровь изменились. Я не знаю, какой амброй благоухаю, и погружаюсь в сон.

Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, я все время галопирую под ним, и память о его шпоре в моей плоти напоминает некую печать. Надо слышать, как я задыхаюсь от мучений. Порой мой бред всплывает в самом серьезном или банальном разговоре. Та-ра-рам! Гоп-гоп! Я слышу его хлесткий голос, и мой собеседник спрашивает, что случилось.

– О, пустяки. На меня напал Ришар.

– Ришар? Кто это?

– Мой демон.

Блаженная юность! Ей нечего скрывать, и обнажиться для нее – естественная гордость. Как только мы остаемся одни, Ришар разбрасывает вокруг себя одежду, словно змея кожу. Едва оставшись наедине со мной, он перестает быть самим собой и становится божеством. Начинается экстаз. Он погружает, ввергает меня туда. Формы у него такие же округлые, а кожа – шероховатая, как у молодой лани. И вот я уже, разодранный, стою перед ним на коленях.

Сегодня вечером он излил свою сперму: ему захотелось увидеть себя во мне, зрительно измерить наше сочленение, его силу и протяженность, а также мою глубину. Потом, когда он отодвинулся и склонился над моим крестцом, я заметил,

обернувшись в профиль, его львиную грудь, тяжелые сосцы, разбухшие от близящегося оргазма, в котором они тоже участвовали, и из соска брызнула капля молока. Посреди путаницы наших форм ничто не могло меня так взволновать, как эти единовременные эрозии, представление о коих способны дать лишь катаклизмы, изменяющие течение жидкостей в природе. *Это* назревает втайне, и вот вы уже потрясены до основания – вы трансмутировали! Разумеется, тут нельзя жульничать и к наслаждению следует относиться не легкомысленно, а словно к постоянному и постоянно возобновляемому посвящению в святейшие таинства.

Мы лишили Естество естественности, желая упразднить множественность под тем предлогом, что мир един и подчиняется некому единому руководству. Древние греки всегда считали, что *Божественные силы*, которым они поклонялись, подчинены Необходимости, и победивший монотеизм не виноват в том, что эти грозные и восхитительные *Силы* перестали обитать на Земле, в Воздухе и Волнах, присутствуя также в нашей крови, которая их выкачивает. Да здравствует Бог, и да здравствуют божества! Их переход можно понять лишь на примере тайфунов, сейсмических толчков, вулканических извержений и гейзеров, имеющих свои подобию в наших членах и страстях: мифологические легенды об этих частных метаморфозах – лишь своеобразное возвышенное предвосхищение.

Я еще долго остаюсь потрясенным и экзальтированным. Поле распаханно, и самое глубинное мое нутро вдруг выставлено на воздух, под открытое небо, на солнце: нервы обнажены, и я чувствую

готовность к самому пышному расцвету. Меня уже торопят, отягощают плоды, которые я принесу. Я угадываю их округлость, объем, сочность, вкус. Отец их – Ришар. Достаточно опустить взгляд на его голое плечо или жилку, пульсирующую в паху, и вот я уже присутствую при сотворении и конце Света, который обновляется, ободряется во мне от его объятий каждый четверг.

Неделя делится на две половины: с четверга по воскресенье я живу воспоминаниями, в сильном волнении, а с воскресенья по четверг надежда приводит меня к руслу реки Любовь, где я молодую.

85

Если в самой гуще сумятицы мы с невозмутимым видом допускаем бестактность, то интимность, позволяющая подобные вольности, еще больше возбуждает. Ведь красоту лошадиной рыси или галопа никогда не портило пуканье.

Наслаждение можно выдержать лишь в высшей точке. Тогда уже ничто больше не шокирует. Все защищено эмоциями. Любой жест, даже постыдный, имеет свое объяснение и оправдание в другом месте. По моему мнению, оправдания не нужны, все жесты – самодостаточны. Я не ведаю непристойности в собственном или общепринятом смысле: вернее, это совсем не то, что понимает под ней толпа. Вдобавок, на излете любой позы, которую оно вдохновляет, и каждого вырываемого у нас слова сладострастие намекает на столько превосходящих вещей и на такие всецело преобразующие фабулы, что ничто больше не унижает, не отупляет и не опошляет меня. Тогда я чувствую себя ближе всего к богам. На мой взгляд, все происходит в эмпириях. Когда он говорил, например, пошуровав в моих внутренностях и повертев меня

на своей железной оси, точно пытая на колесе; когда он говорил, например, встав на ноги, но не отпуская меня и покрутив слева направо и столько же раз справа налево, так что мое тело приставало к его боку, а конечности растопыривались, точно крылья воздушной мельницы; когда он говорил, например, показав всеми возможными способами, как крепко мы спаяны, как крепко я прибит к нему гвоздем и как крепко он прибит ко мне прочной заковкой; когда он говорил, например, почти с ненавистью, с полным ртом слюны на уровне моих глаз:

– Ну, как я тебя отдрючил?..

Что с того? Ведь речь шла не только о том, что происходило или якобы происходило между нами, но и о том, что происходит между хищниками в лесу или между бесами и проклятыми в Аду, равно как и между светилами на небосводе.

Сильная боль в паху – он смертельно меня ранил? Тем лучше. Разбитый, я улыбаюсь ему. Еще раз натяни свою тетиву и прикончи меня.

И лишь одна гарантия нашей встречи – верность друг другу на четверговом свидании.

Я гриппую, но влюблен, то есть одновременно болен и здоров. Как можно упасть, если все тебя выпрямляет? Только на этих горящих углях невозможно спать. Если даже на моей пояснице застынут все снега, они растопятся в тот же миг. Ничто так не воодушевляет, как эти чередующиеся смерть и воскресение – почти без промежутков.

В среду я так боюсь заболеть, что именно от этого и заболеваю. Я настолько боюсь не прийти туда, где он будет завтра меня ждать, либо прийти с испорченным лицом или телом, что меня огор-

чают все мои жесты, ибо они кажутся бесполезной тратой, а все мои слова – опрометчивым расходом драгоценной энергии, сбереженной для него. И я не решаюсь крикнуть, встряхнув головой:

– Не трать силы зря!

Я оставляю себя под паром.

В экономику его удовольствия вводится новый неожиданный элемент, который вдруг меняет весь строй ощущений, нарушает все телесные привычки.

87

Прежде этого хватало для удовлетворения, но теперь становится мало: целая часть «я» временно упраздняется. Что-то другое, к чему еще не привык, одерживает верх, захватывает врасплох и выводит организм из равновесия. Оно почти приостанавливает, сламывает волю.

Отсюда проистекает утомление, усталость, подводящая механизм к какому-то ожесточению или, так сказать, мертвой точке, что выражается либо в сне, граничащем с каталепсией, либо в неодолимой бессоннице – ожесточенном, непрерывном бодрствовании.

Почти уже старик, я познаю любовь мальчика, которая делает меня моложе на двадцать лет, и у меня такое ощущение, будто один час, проведенный с ним, равноценен году жизни, хотя боги знают, что в подобных случаях я не торгуюсь.

Подумать только, я дожидался шестого десятка, дабы пережить этот фантастический опыт, – как если бы на пороге могилы изменил арифметический знак всех своих интересов.

Чудо – это размеренная, безупречная, восхитительная жизнь, добросовестное и тактичное исполнение всех моих обязанностей посреди такого переполоха!

Осознай я вдруг, что со мной происходит, что бы тогда произошло?

О, эта безусловная симпатия, взошедшая в разгар зимы между Ришаром и мной, будто исключительное солнце!

88

Однажды, в первый день весны, он не пришел. Мы больше никогда не виделись.

Счастье хрупко. При его приближении сердце бьется чаще. В окружении опасностей мы срываем розу с еще большим волнением. Я раздвигаю шипы, не забывая магическую формулу для заклятия судьбы. Дверь открывается, и вот уже он кричит, словно был здесь всегда:

– Я приготовил тебе сюрприз.

Никого – или этот банщик.

Четверть четвертого.

Он не придет.

Половина четвертого.

Стучат. Незнакомец, которому поручено утешить меня, представляется:

– Меня зовут Филипп.

Он так красив, что вполне заслуживает имени Александр. Его гримаса напоминает лица всадников с Акрополя; на подбородке – глубокая трещина, словно второй рот.

Дело в шляпе...

Жан Беж подумал: «Эти двое слишком часто встречаются – того и гляди, начнут жить вместе, а я потеряю лучшего клиента» и отвалил Ришара, заменив его этим Филиппом, который утверждает, будто ему поручено оказать мне услуги того другого, якобы задержанного обстоятельствами.

Но чары были разрушены. Красота Вестника, требующего от меня всего сразу, довершила остальное.

Алкмена*, погруженная в неопишемую растерянность, больше не помнит, кто ее супруг, и хоть их нельзя окончательно спутать, в мыслях я беспрестанно принимаю одного за другого, со смущающим меня бесстыдством.

90 Единственный уступил место второму – тоже обладателю чудодейственного копья. Филипп оказался способным на то же, что и Ришар; возможно, он даже лучше и красивее.

С венцом стыда на челе, я не упоминаю о своих вывернутых внутренностях – взбудораженных, вздутых, кипящих, переполненных, раздраженных и беспокойных, словно я произвел на свет Дракона или Геракла.

Кто же их отец?

Разумеется, Зевс.

Вы же видите, я смеюсь.

Конечно, теперь лицо Филиппа преследует меня гораздо чаще, чем лицо Ришара. Спросонок я тотчас замечаю, как оно склоняется надо мной, похожее на одну из тех каменных фигур, о которых я говорил, но живое и измученное его шпорой. Мое желание уже уносит меня галопом в его больших белых руках, поддерживающих меня, точно сбрую. Да о чем я говорю? Никто не умеет играть в Кентавра лучше нас двоих.

* Микенская царевна, супруга тиринфского царя Амфитриона. Алкмена отличалась необыкновенной красотой, и когда Амфитрион находился в военном походе, Зевс принял облик этого героя и сблизился с ней. – *Прим. пер.*

Трагедия сменяется комедией, и с этого момента я больше не могу воспринимать нас обоих всерьез, выше определенного уровня серьезности, – и плевать на последствия! Как только страсть уступит место любопытству, мне будет гораздо проще отказаться от того и другого, нежели от чего-то одного.

Жить – значит беспрестанно нарываться на худшие неприятности, при этом ловко избегая их. Едва отвлекся, оступился – и ты погиб. Если ты внимателен, то обойдешь ловушку, а если бдителен, продвинешься далеко.

91

Порой я задаюсь вопросом: быть может, этот Филипп – Всадник Апокалипсиса с гравюры Дюрера? Ведь на нем такая же бесстрастная маска, а в доспехах он был бы еще больше похож, чем голый.

В тот миг, когда он заявил, что отдастся мне, я посмотрел на него: о, эта недовольная гримаса! Мертвенная бледность растеклась вокруг трепещущих ноздрей, а губы искривились, позеленев, точно завитки расплавленной бронзовой вазы. Его глаза затуманились от слез, а крик выражал лишь боль.

Никогда еще лицо не заполняло мой взгляд настолько исчерпывающе – буквально до краев! Там совершенно не осталось места, и что бы я ни делал, вижу только его. Больше ничего не стирается.

Некий молодой Антонен Арто с более крепким фундаментом, ржавым железным скелетом, голубыми стальными мышцами, прорисовывающимися под тонкой кожей. Профиль мужественнее, чем фас – благодаря выдающемуся вперед и загнутому вверх подбородку, перечеркнутому ямочкой.

Не считает ли он меня склонным к зрительным галлюцинациям? Я убежден, что в планы этого Филиппа входит их разжигание и что все в его силуэте этому способствует. Все принимает его форму и облик, словно он порождает во мне самого себя до бесконечности. Чего бы я ни касался и что бы ни видел, все несет печать его фигуры.

Иного больше не существует.

92 Элиза^{*}, словно догадываясь о происходящем, беспрестанно преследует меня в своем гневе. Избавленный от необходимости притворяться, я веду себя так, будто она знает, что я болею только из-за Филиппа, который меня разорвал.

Сегодня я отвел Жана Бежа в сторонку и сказал:

– Вы – достойный преемник Альбера. Вы, случайно, не его племянник?

– Нет, но когда-то давно, еще на улице Сент-Огюстен, он решил съездить в Бретань и доверил мне свое *заведение*. Когда по его возвращении я вручил ему еще больше денег, чем сам он обычно получал от своих клиентов, он сказал: «Запомни, малыш, мое предложение и обещание. Если я окажусь на пороге смерти, хоть завтра, хоть через двадцать лет, приходи ко мне, и я передам тебе свое дело – ты серьезен и умеешь считать деньги». Так вот, пятнадцать лет спустя кто-то сообщил мне, что Альбер болен. Я пришел, и он сдержал слово, хоть я и не приходился ему никем.

* Элизабет Тульмон, по прозвищу «Кариатида» (1888-1971), – танцовщица, на которой Марсель Жуандо женился в 1929 г. Бывшая любовница Шарля Дюллена, близкая подруга Жана Кокто и Макса Жакоба. Безуспешно пыталась «отучить» мужа от гомосексуальных наклонностей. – *Прим. пер.*

– Жан, – сказал я, – если бы не вы, я не познал бы главных радостей своей жизни.

Он взял меня за руку, и я поцеловал его.

Порой мне кажется, что я умер. Ставни ателье остаются закрытыми. Мои голуби растерянно мечутся на этажах. Вдали Ришар и Филипп спорят о моей любви:

– Говорю же тебе, он любит меня.

– Нет, малыши, я не предпочитаю никого. Да, Филипп, я отдаю тебе вторники, а тебе, Ришар, четверги, так неделя пролетает быстрее – вот и все.

93

В этом-то весь секрет: скорее уж пищеварительный аппарат срастется с остальным организмом или я покину собственное тело, нежели откажусь от удовольствия.

Филипп обладает талантом вкладывать в любые свои слова завуалированный упрек, хотя мы с ним постоянно изнемогаем от усталости.

Филипп:

– Те, кто заслуживает почестей, избегают их, а те, кто их получает, недостойны этого, так что они в сущности не получают ничего. Они заслуживают лишь тумачков. Удовольствие встречается столь же редко, как и любовь. Оно требует слишком много заботы и отречения. Ах, комедия удовольствия! Лишь подобие, но все же необходимо познать его!

5 марта 1947 г.

Встал в 4. Сразу сел за рабочий стол. Как только достигаешь границ радости и боли, почти тотчас же гибнешь, не в силах там освоиться. Например, вчера после обеда, когда я думал лишь о

том, что последует за ним, еще раз пережил обмен ласками, казалось, обоюдно приятными, но затем вновь очутился в Аду, словно Элиза поставила перед собой задачу – наказывать меня за все мои удовольствия.

Конечно, эти ужасные *радости* может позволить себе лишь тот, кто поднялся надо всем или пал ниже всего, – на самом деле, он уже ни там, ни здесь, и ничто не способно его унижить.

94

Памятник из моих костей был так поврежден последними бурями, что порой мне чудится, будто он дрожит.

13 марта

Неужели под моими окнами плещутся флаги?

Да нет же, это крылья моих сизарей.

В ожидании:

– Счастье не бывает долгим.

Нескончаемый обед, за которым П. Л. сказал, что я навсегда останусь милым человеком, несмотря ни на что.

Жан П.:

– Как будто в сердце стучит черное крыло.

Сразу по окончании обеда я жду его в этой голубой, темной и тесной комнате.

Кого? Ришара или Филиппа?

То был Филипп – красивый, в восхитительной тональности. Нежный и сильный, по моему желанию вдруг становящийся зверем. Зверь – оптимальный вариант для того, чем мы должны заняться.

Этот актер живет так, словно играет в театре, хоть и не знает, чья пьеса, и даже отдаленно не догадывается, что я за персонаж. Время от времени он импровизирует. Я не подсказываю реплики, а *подвожу* к ним.

Например, спрашиваю, понимал и говорил ли он на том же языке, на котором общается со мной.

– Нет, – признается он, – это впервые.

Тогда я предлагаю ему окружать друг друга таким любезным вниманием, словно мы – два божества. В миг чисто плотского блаженства его глаза наполняются слезами, ноздри белеют, а губы вновь кривятся и зеленеют. Неужели именно я создаю это внезапное температурное воздействие? Все выверено: у меня в руках его лицо превращается в бронзовую маску.

95

Глупость Филиппа никогда не бывает в тягость, это глупость конюха. Она добавляет к его неотесанности мягкость, как раз необходимую для того, чтобы никогда не ощущать грубости: между нами словно стекает расплавленное ореховое масло.

Я не в силах описать ту скромную предупредительность, то заботливое смирение, с какими он унижает меня: примерно так же палачи на полотнах Эль-Греко поклоняются конечностям, которые они должны ранить и истязать, или жокеи на манеже стегают оседланного скакуна, благодаря своей цене и изяществу становящегося в их глазах чуть ли не священным животным.

Он имеет меня только на коленях, и я обхватываю его ногами за шею. Поэтому лицо его остается открытым, а веки опущены вплоть до того момента, когда счастье охватывает нас обоих.

Тогда он широко открывает глаза – большие большие барвинковые глаза, чья нежность в тот миг еще острее, поскольку рот жестоко сминает-

ся, втягиваясь внутрь, будто еще живая устрица, побеспокоенная в своем логове. Затем мне достаточно сказать ему об этом взгляде и гримасе, чтобы он улыбнулся, но так улыбаются только спящие животные, окликнутые посреди сладострастного сна.

17 марта 1947 г., 5 часов утра

96 Изучая летопись своих побед, я смущаюсь и конфужусь. Уж не знаю – искушенной я или же униженной? Сколько сил, столько и слабостей.

Сладострастие затрагивает меня в той же степени, в какой напоминает религиозную трагедию, пробуждающую все силы бездн и Небес.

Только посредством него переживаем мы таинства мифологии, и каждый в полной мере воплощает многочисленные собственные метаморфозы.

Ждать любимого – какая отрада! Как вознаградить его за все страдания? Любовь, жизнь, мое Древо – его цветок и плод одаривает меня нагим. Все унижения, которым я подвергаюсь на этом пути, все опасности – не в счет. Какое счастье – топтать, попирать свою гордость, словно ковер, дабы воссоединиться с тобой в этой конуре, в глубине сырой пещеры, где перепутываются наши корни. Ах, если б ты знал, с какой высоты я спускаюсь в эту постыдную теснину, по которой ты пройдешь, а я последую за тобой, и ты овладеешь мною меж двух стен – каждодневных свидетельниц подобных аутодафе!

О, только бы не потерять сознание, пока не увижу, как ты, Филипп, бледный от страсти, снова приходишь ко мне на свидание.

...

Он изнемог за три четверти часа и ушел, пробормотав, чтобы я больше не приходил.

Когда я опоздал на час, его уже не было. И вот, брошенный, я грущу. Какое заблуждение – поверить, что это будет продолжаться до бесконечности! Ришар, Филипп – лишь демиурги, мифы, видения.

КАРЛИК

Восемь дней. Он появляется вновь. Я исцеловал каждый сантиметр его тела, но, как только он дал тягу, почему-то попросил, чтобы мне прислали другого. Если б он только знал! Единственное мое оправдание – упоение чувств, в котором он меня оставляет. Я уже не могу удовлетвориться *всем*. Мне нужно еще больше. Осторожно! Именно по такому головокружению и таким требованиям я догадываюсь, что, не удовлетворяясь более ничем, я вернусь к Мудрости. Тиресий колеблется между своими двумя ликами.

Ну и пусть. Я был счастлив один час. Что ж, когда его нет рядом, Земля становится для меня могилой! Если я чую за своей головой теплое дыхание живого существа – это праздник! И наверное, то был не Ришар и не Филипп, неважно кто: какой-то мохнатый приземистый зверек с короткими лапами, но при этом милый, гибкий, ласковый, с горящим взором и влажными губами, послушный, сильный и милостивый!

Ничто так безраздельно не излечивает от всего (и это магия), ничто так не сводит все внутри и снаружи вас к нулю, как неверность.

Неверность – это еще и верность небытия небытию.

Если Чудо мог совершить любой, какую роль играл при этом Ришар и какая роль отводилась Филиппу? Чары пребывали только во мне – в моем воображении, облакавшем ими обоих.

Тогда почему бы не остаться одному? Сам по себе я стою всех вместе взятых, ведь незаменимых нет и все – лишь *Другой*, взаимозаменяемый до бесконечности.

Мне сказали:

– Под всеми обличьями ты любишь *одного и того же*. 99

Но кто он?

В сладострастии, как и везде, ты пребываешь наедине со своей Мечтой. Филипп, Ришар – лишь воплощения твоего Двойника, с которым ты совокупляешься в поисках идентичности.

Я почти напился, но управляющий проявил большое остроумие. Он показал издалека высоко-го мальчика, пообещал, что пришлет его ко мне, и, углубившись в пальмовый лес, где должна была состояться встреча, я увидел Карлика в широкополой шляпе, с зонтиком под мышкой. Когда он снял шляпу, перчатки и остальное, я не был разочарован. Неужели так подействовали эти гигантские зеленые растения – точь-в-точь как в джунглях? Карлик разделся догола: весь заросший волосами. На груди и от коленей до пояса кожи вообще не видно, словно у гориллы или пса. Голос походил на глухое хрюканье, и Карлик тотчас принялся ползать на четвереньках – точнее, на пяти лапах. Я никогда еще не приходил на свидание со зверем, который был настолько человечен, и с человеком, так сильно напоминавшим животное. Ягодицы скрывались под черной шерстью, точно под шелковой юбкой, утолщавшейся на складках и в промежности – спереди и сзади, так что яички, креп-

кие и сросшиеся с телом, становились заметными лишь при определенных движениях, а член раскачивался гусарской саблей.

У. сказал мне:

– Я пришлю к вам Жоржа.

Но когда уже под деревьями я спросил Карлика, как его зовут, он ответил:

– Поль.

100

«Ошибка», – подумал я, но Поль выполнил обязанности Ришара и Филиппа ничуть не хуже, чем сделал бы Жорж на его месте. И так, для счастья мне не нужен никто. В сущности, подошел бы любой. Какое оскорбление для моего сердца, для чувства, которое я считал посвященным лишь одному. Прощай, потребность! Под множеством обличий я любил *Мужчину*.

Теперь я знаю, что такое Сатир – эти меховые штанишки, этот бородатый зад! Когда он бросился на меня, ему пришлось снять естественную набедренную повязку, и, получая удовольствие, он одновременно мечтал о других, видимо, жалея лишь о том, что не способен испытать все сразу, и даже не смотрел на меня, точно имел дело с машиной.

Зайдя вчера к Жану Бежу, я сказал лакею, который встречает меня каждый четверг, – сказал, полагая, что он возмущен:

– Ах, Уильям, какое же я чудовище!

– Это вы-то, сударь? Если бы на свете обитали только такие чудовища, как вы, то здесь еще можно было бы жить! Пасифая. – Теперь я знаю, что такое Бык, Корова, Минос, вся его семья и лабиринт (он не только в ушах, но и во всем теле).

Нить Ариадны разматывается, скользит, завязывается узлом и забавляется в наших внутренностях.

Ну и ладно.

Я не знаю, что творится в моем животе: что-то приятно подпольное, опасное и мертвое для меня (тем лучше!), и не знаю, что во мне зарождается – нечто бесконечно чудовищное.

Весь свой жизненный интерес я сосредоточил на получении удовольствия и не извинюсь за это ни перед кем.

Вчера Пьер был очень любезен: он говорит, что его мощные мышцы ноют, стиснутые своей оболочкой. Зная о моей страстной любви к Филиппу и Ришару, он не хулит их, а напротив, хвалит их образованность и воспитанность, коими сам не обладает.

– Все очень просто: у них есть то, чего не хватает мне. Только ты можешь сказать, есть ли у меня то, чего не хватает им, – вздыхает он со смирением дворняги, которая тушует перед породистыми псами, но я вознаградил его за благородство, превознеся его более осязаемые, реальные достоинства.

Какой прелестный мир обретаю я в этом сокровенном уголке, который так несправедливо считается гнусным!

Я знаю, что быть здесь *любимым* (можно ли в данном случае с гордостью сказать *ценным*?) справедливее и вместе с тем *почетнее*. О, уважение сброда, почтение, внушаемое сутенерам! Вот где необычный, редкостный, озадачивающий товар, которым я не стану брезговать. Наши-то добродетели и приводят нас в бордель: без сомнения, здесь я не смешаясь с толпой любителей. Здесь я –

*Меченый**, *Синяя сорочка*, а кто-то другой – *Мужчина в цепях*, третий – *шакал*, четвертый – *Жеманница*. Я слышу идеальным клиентом, который не скупится и не плурует, знает цену услужливости, добросовестной ласке. Поэтому со мной не скупятся и не плуруют, надеясь меня удержать. Все по-честному.

Раздеваясь, по обыкновению, медленно, я наблюдаю за ним украдкой. В два счета сняв с себя брюки, пуловер и сандалии, Пьер, уже голый, смотрит на меня, растянувшись на кровати, подложив руки под голову и выставив свои прелести с тайным намерением возбудить: пучки волос под мышками и в паху составляют треугольник, оттеняющий округлую полноту пышных форм, словно завязанных узлом на бицепсах, напряженных грудных мышц и грушевидных икр. Между широко раздвинутыми ляжками виден восхитительный половой орган, что покоится среди достойных его атрибутов, словно огромный черный такелаж на боку судна, отправляющегося в какое-то фантастическое плавание.

103

Как только я подготовлюсь, Пьер подходит ко мне, притягивает к себе, и я начинаю дрожать, стонать от страха, умолять, чтобы он пощадил меня, чтобы не был слишком груб и суров: я похож на птицу, которой не спастись от ястреба или жреческого ножа. Затем он называет меня ласковыми именами – заслуженными односложными словами, и я улавливаю не их смысл

* Прозвище Генриха Гиза (1550–1588) – одного из организаторов Варфоломеевской ночи (1572) и главы Католической лиги. – *Прим. пер.*

(он говорит на своем жаргоне), а, скорее, умышленную доброжелательность либо иронию, если он не приправляет их грубостями – наоборот, понятными – или какой-нибудь угрозой, от которой у меня леденеет кровь. Одновременно его ладонь касается меня в нужном месте, его ласка возбуждает и успокаивает, он постепенно обнимает меня за талию массивной рукой, что давит на бедро, внезапно опоясывает и мнет. Его лицо исчезает, я чувствую, как оно опускается вдоль поясницы – в поисках тех глубин, куда он является, как к себе домой. От прикосновений его пальцев, а затем и языка я расцветаю. Зарождается доверие. Как только я ощущаю, что во мне водворилось его тепло, лицо его поднимается из бездн. Он словно задевает каждый мой позвонок один за другим, и когда кусает мой затылок, я чувствую его тело, лежащее рядом, его чувствительные соски над моими плечами, а квадратный конец фаллоса, упираясь в мои ягодицы, будто нарочно для того, чтобы я испытал его жесткость, еще немного колеблется у порога и наконец распарывает меня. Уже в седле, после долгой прогулки рысцой, рывком поясницы он переворачивает меня, и, обвив его ногами за шею, наподобие ожерелья, я могу любоваться между его плечами, закрывающими от меня всю комнату, угрюмым Ликом Титана, что качается, переходя от жесточайших оскорблений к ласкам, от криков боли к блаженству и, наконец, тает от счастья. Его рот прилипает к моему, и глаза наши закрываются в тот миг, когда меня затопляет его обжигающий сок, тогда как мой разливается между нашими сердцами – взрыв, приветствуемый бесконечными хрипами, как это бывает у хищных зверей, совокупающихся в чашобах.

Эти странные, необъяснимые жесты, являющиеся трофеем удовольствия, – знаем ли мы, какие загадочные диковины высвобождают они в нас? Они принадлежат механике, ключ к которой хранят лишь мифологии, и горе тому, кто порочит их, вместо того чтобы обеспечить им значительность и уважение, без которых они – ничто.

Я могу лишь сказать, что стремлюсь снова утратить свою форму, лицо и расплавиться – дабы еще раз увидеть, когда все мои жидкости закипят и смешаются, как над крахом моей личности, будто из бушующего моря, появится на своей триумфальной колеснице сей Тритон с упрямым лбом и пеной на губах и своей бороной раздерет меня!

105

Если бы это было необходимо, обладай я требуемой верой в первый же день, не знаю, пошел ли бы я туда, чтобы доказать себе, что это возможно и с ним. В этих отношениях есть что-то неправдоподобное, дерзкое, опасное, что меня привлекает и больше относится к ритуальному убийству, нежели к чистому сладострастию. Действия неистовы, как на вакханалиях, где грация запрещена в угоду экстравагантности, исступлению.

Замók моего Небосвода, способен ли ты передвинуться, будто наяву, этой ночью вдоль моих снов, дабы я вдохнул твой запах, ощутил, как на лицо мне градом обрушиваются тяжелые твои плоды, на глаза – их влажная свежесть, на язык – вкус их шероховатой, сдвоенной каштановой оболочки, висящей на суровой ветке, открывающей врата моей Преисподней?

Когда мы оказываемся друг напротив друга, как приятно сразу приниматься за дело – без тени колебания, тотчас цепenea от желания! Точно так же боа поглощает свою добычу, несмотря на ее величину, а росянка – свою, ведь мы привыкли подчиняться друг другу, по очереди.

106 Однажды ему захотелось зажать между нашими ладонями оба члена, соединенных пучком, и мы уснули вместе: моя грудь была усеяна нашей спермой, точно фосфоресцирующими кувшинками.

В тот вечер он сказал:

– Даже не верится – с тобой я развлекаюсь, а с другими работаю.

Он несдержан на язык, который бывает то низменным, то благородным, во взгляде какая-то угроза и некая наглость в посадке головы: он подставляет лоб, всегда готовый ринуться на препятствие. Рожденный под знаком Тельца, он отличается его повадками. Наверное, отвислые губы, немного обрюзглые и всегда мокрые от слюны, смущают любовников и любовниц своей звериностью, но я, догадываясь о том грозном и страшном, что может скрываться в этом теле и лице, лишь сильнее наслаждаюсь деланной мягкостью его улыбки, остающейся отчасти жестокой даже в самые приятные моменты, и неумелой лаской его огромной ладони душителя, которую достаточно не положить, а лишь грузно опустить, чтобы задавить насмерть, или сложить на горле – дабы навсегда перекрыть дыхание. Нежность для него – лишь уступка, которой он стыдится и поэтому вскоре начинает вести себя высокомерно, но, разумеется, от него не ускользает ни один мой знак внимания, и он отвечает на каждый невыразимой изобретательностью своей неисчерпаемой чувственности.

Самый приятный момент – когда он уже голый, но еще на ногах ждет меня в условленный час четверга.

Все готово для жертвоприношения, кроме самой жертвы, застенчиво не решающейся снять повязку.

С мечом в руке Жрец выходит вперед, издали прикидывая силу удара, который нанесет по моей хрупкости, уже дрожащей от страха.

107

Спустя долгое время я увижу в наступающей темноте комнаты, как оживает этот мрамор молочной белизны. Почти нереальную искренность удостоверяет лишь взгляд, спрятанный под припухлостями. Ни одного властного жеста, ни единого приветливого слова и даже упрека. Такая экономия средств, что можно подумать, будто занимаешься этим со статуей, с немым. Никакой спешки или медлительности, но какая уверенность ладоней и поясницы – в миг перехода к действиям, то есть сразу! Лишь искусные приемы, лишь нарочитая нерешительность, призванная взбудоражить, возбудить желание и заставить вульву напрячься, распахнувшись навстречу ключу, затверделому и жгучему наслаждению, словно железо – навстречу огню.

Меня забавляет та дерзость, с какой я назначаю эту тайную встречу посреди очень напряженного дня, между самыми серьезными занятиями и визитами к почтенным особам, которые вовсе не догадываются, к кому я от них ухожу или от кого к ним являюсь.

Я сказал об этом Мари, и она тотчас побледнела.

Я никогда раньше не испытывал такого состояния, в каком пребываю порой еще часа два после близости с Пьером. Он кажется мне завернутым от коленей до пояса в чехол из крапивы, жалящий до слез, похожий на человека, страдающего невритом или опоясывающим лишаем, но этот поверхностный жар – ничто по сравнению с тем огнем, что истребляет мои внутренности, куда он словно кладет горящие угли: его можно принять за Дьявола. Впрочем, это не оказывает на мое здоровье, которое никогда не было крепким, вредного воздействия и обладает теми же симптомами, какими порой осложняются венерические болезни. Речь идет совсем о другом, и я не могу сказать, хотя меня это беспокоит, довершает ли подобная мука мое блаженство. Кто же сие существо, способное поставить на вас столь жгучее клеймо? Наше ли воображение приспособливает тело к своим фантазиям или же само тело предрасполагает воображение к своим, и они действуют наподобие двух заговорщиков?

Помнится, в детстве тот, кто приобщил меня к любовным занятиям, указал мне путь. Возможно, мне было лет двенадцать. Определенные неудобства удержали меня на краю. На шестнадцатом году я еще не знал того, чему впоследствии кропотливо обучил меня *Рот из слоновой кости*, но его грубость отбила у меня охоту до самого порога старости.

Именно ты, Ришар, расстелил подстилку из этих последовательных проб и ошибок и доставил мне удовольствие, к которому стремилось мое тайное естество, но после Филиппа лишь ты, Пьер, сумел сделать это удовольствие исчерпывающим.

Еще и сегодня я вырываюсь из его объятий, словно он посыпал мои конечности купоросом. Этот пожар надолго обрекает меня на некую сверхчувствительность: высшая степень сладострастия – о, милая боль! Я стою с содранной кожей и оголенными каналами, словно по ним течет кипящая лава, а в глубине меня – этот снег.

Вдруг вы начинаете бояться, что перешли границы Естества, изнасиловали свою природу. Берег смерти кажется близким, и вас охватывает какой-то священный ужас, впрочем, без сожаления.

Нет, все опять приходит в норму.

Отсюда лишь один шаг до мысли о том, что Естество можно принудить к подчинению, приспособить к своим требованиям, к своей личной экстравагантности, и это воспринимается как победа над ним, как согласие (по крайней мере, с его стороны) не погибнуть от этого.

Сегодня Жан-Пьер Л. сказал мне:

– Существуют праведники и нечестивцы. Вы – ни тот ни другой, и оба в одном лице. Я не знаю никого, кто напоминал бы вас в этом отношении. Возможно, вы – единственный в своем роде: я хочу сказать, что у вас праведная манера замышлять и творить нечестивости.

Я попросил его объяснить.

– Что ж, извольте. В чем причина – в возвышенности взгляда или же чувства? По-моему, это вызвано, скорее, наличием огня и вместе с тем света, который оживляет и преображает их. Вы способны, без ущерба для себя, приручать страсти, познавать на опыте удовольствия, которые не мешают вам продвигаться вперед и даже расти, тогда как всех прочих они тормозят и даже ослабляют.

Между тем я обнаружил в себе нечто чуждое сексу, признанное моей чертой в день моего рождения, и порой на людях я чувствую ее неистовое присутствие, похожее на физиологический позор, но при этом, конечно, горжусь, что после подобного всплеска всегда сохраняю невозмутимый вид.

110

Пожалуй, самая большая редкость – умение скрывать явные стигматы собственных катастроф.

О, прекрасная медаль, на лицевой стороне которой выгравированы два божественных профиля, а на оборотной сплетаются конечности двух безликих зверей!

Чем меньше способов употребления, тем больше настаивают на их достоинствах и удовольствиях. Неотразимый Дон Жуан, женоподобный извращенец – какая гадость!

Когда ничего не ладится в душе и вокруг, в четверг у меня всегда есть он – вне всякой досягаемости.

Вчера он сказал мне:

– Понимаешь, чудо в том, что теперь я создан для тебя, а ты – для меня. Мы словно правая и левая ладони, которым не обойтись друг без друга.

Исходящее из этих-то глубин сладострастие способно заменить религию.

Поскольку сегодня мы не испытали оргазм одновременно, он грустит и укоряет себя за то, что не дождался меня, – упрекает, будто в несостоявшемся акте.

Я говорю ему:

– Пустяки! Мы бывали друг с другом так часто, как никто другой. Разве не ты превратил меня в женщину?

Тогда он назвал меня своим Единорогом, и мы долго пролежали вдвоем: его огромное твердое копьё вонзилось в меня полностью, а мои ноги обхватывали поясницу этого молодого Тельца. Но еще тверже был его взгляд, тоже вонзенный мне в глаза, пока мокрая от пены мордашка еще покачивалась над моими губами, о которые мимоходом, словно в шутку, вытиралась время от времени. Только Зверь бывает таким торжественным и ручным, ведь он видит свою жизнь во сне, пребывая целиком в настоящем и полностью отвлекаясь от того, что делает, без воспоминаний о прошлом и мыслей о будущем, неспособный на сожаления.

III

Порой я задерживаюсь между его лицом и бархатной маской, загораживающей живот, словно он выходит навстречу тем чудищам, что живут ниже пояса.

О, кустарниковый шиповник, ретивый, нескромный и порой цветущий, словно в петлице, в его приоткрытой ширинке! Он голый? Из длинного черного руна боязливо появляется розовый язык моего пуделя.

Я едва смею надеяться, что увижу его сегодня, но страстно желаю этого. Требуется стечение слишком многих обстоятельств, и я удовлетворялся столько раз, что очень долго подготавливаюсь к возможной помехе – лишь бы не разочароваться. Разве он не может заболеть? Несчастные случаи происходят так часто. А сколько мне нужно преодолеть препятствий, чтобы увидеть его наверху

лестницы, с горящим взором, открытым ртом, молчащего, с рукой, засунутой в карман брюк для обуздания того, что мешает ему спуститься ко мне?

112

С Пьером я познаю счастье любить человека, который мало заботится о моей и своей верности. Удовольствие – наш Закон, и каждый получает его при удобном случае, не обижаясь на другого, откуда бы оно ни исходило. Чудо в том, что ни с кем другим мы не испытываем большего, чем вдвоем, и верность подразумевается сама собой, хотя и утрачивает свое название. Я хочу сказать, что, спонтанная, беспричинная, свободная и естественная, она теряет связь с тиранией и добродетелью, утрачивает то ненавистное и даже героическое, что может в ней быть. Высшей деликатностью между любовниками – Пьером и мной – было разрешение по очереди, не рассказывая друг другу, спать с Жаком, и нас обоих весьма прельщало, когда наши губы делали крюк, дабы еще раз неожиданно встретиться на алых устах этого юнца, будто на одном и том же кубке.

На пороге некоего счастья мы не решаемся его сорвать и остановиться. Этого ли мы хотели и хотим? Иногда в присутствии формы более реальной и конкретной, нежели предполагалось, гораздо более волнующей и мучительной, чем мы ожидали, желание тотчас ослабевает. Мечта остается, а мифология воображения повреждается, когда тело, угадываемое под одеждой, обнажается перед вами, но, тоже постепенно обнажаясь, вы приступаете к нему с соразмерным волнением – вернее, потрясением от того, что вы представляли его себе иным, перевернутым с ног на голову.

На самом деле, вы вовсе не стали жертвой галлюцинации. Это – некто. Именно *объект* чувствует обязанность ударить вас первым. Он должен исходить не от вас, а из другого места, и чем больше вас поражает то необычное, что он привносит в ваше ожидание, тем явнее, очевиднее его присутствие.

Ну так иди, прикоснись к нему, чтобы он прикоснулся к тебе. Он уже проникает в тебя, входит посредством своего священнейшего члена и оставляет в тебе даже не свой отпечаток, но самую сущность.

113

Какого черта я так долго ждал, чтобы Ришар сделал из меня женщину, Филипп продолжил его подрывную работу, а Пьер нанес последний штрих?

Теперь во мне зародился *морской еж*, принадлежащий как к морской флоре, так и к земной фауне. Растительное и вместе с тем животное кольцо размыкается и вновь смыкается, словно дыша вокруг алмазного пальца Пьера.

– Прикоснись ко мне. Сильнее. Мягче. Там. Нет, здесь. Иди. Давай. Пронзи. Дальше, вперед, вторгнись, изомни, перевяжи, порви, смажь, – и вот в ночи распускается моя пурпурная роза под жалом твоего когтистого шмеля с мохнатым брюшком и золотистыми крыльями.

Тот, кто создает новый Орган, скорее, вызывает беспокойство, нежели доставляет удовольствие. В сей миг сознание подавляют изумление и тревога. Мы вдруг становимся свидетелями внутреннего опрокидывания естественных перспектив, что почти равносильно частному катаклизму.

Непостижимая новизна положения приостанавливает чувство и даже ощущение – то есть остается лишь боль, если слова «боль» и «сладострастие» в этих пределах еще способны хоть что-либо означать (с Ришаром).

114

Лишь гораздо позже, когда проход уже сделан, изумление притупляется, смягчается, можно сосредоточенно насладиться удовольствием, и ничего не утрачивается (с Пьером).

Возможно, самый приятный момент – время ожидания на коленях, когда не видишь и не знаешь, что творится за спиной. Ничто так не волнует, как приближение пениса перед его легким прикосновением. Сладкая остановка члена на краю губ, которые втягиваются внутрь и расслабляются, словно встречая то, что раздвинет их и порвет. Вас уже обхватывают две руки. Не убежать. Проникновение сначала болезненно, но беспокойство железа позволяет ему занять свое место в ножнах, которые, развертывая петли одну за другой, скорее, принимают форму того, что их наполняет, не жели навязывают свою, вплоть до момента, когда вульва, распахнувшись от удовольствия, сама разглаживается и смазывается. Тогда первоначальное мучительное скольжение превращается в сладострастнейшую и словно внутреннюю ласку.

Лишь Пьеру удавалось ритмично раскачиваться в набирающем силу экстазе: когда его живот касался моей поясницы и наши руна спутывались, он занимал во мне свое место, где оставался надолго неподвижным и таким напряженным, что головка раздувалась внутри и, благодаря лишь собственной пульсации и вибрации, достигала оргазма. Тогда, оповещенный его криком, я вдруг

ощущал, как меня затапливает его горячая жидкость, и, увлажняясь, он тотчас спешил воспользоваться этим, дабы продвинуться еще дальше, потихоньку напирая, так что теперь кричал уже я, и одновременно, под воздействием наслаждения, все во мне сжималось, словно кулиса над его фаллосом, который я удерживал в плену, и, обезумев от взаимной благодарности, мы падали, обнявшись, на ложе и засыпали.

115

Невероятно, что после некоторых неудач нам хватает мужества идти дальше. Ведь ожидания так далеки от реальности! Сколько времени требуется, чтобы мало-помалу восстановить в своем величии и вновь сделать достойным наслаждения то, что глупость, душевная черствость, бесплодность воображения и бесхарактерность большинства мужчин сделали омерзительным.

Сегодня я констатирую, что развил в себе чуть больше жизни, чем предусмотрено, позволив привить к своему телу новый орган.

По вине моих первых партнеров, либо слишком робких, либо слишком грубых, медленная работа на подступах продолжалась более пятидесяти лет. Сколько напрасных попыток! Множество поражений. Не было никакой преднамеренности, но я вынужден признать, что отныне я принял в себя, безо всякого ущерба для своего физического и морального устройства, второй пол – причем до такой степени, что могу называть себя одновременно мужчиной и женщиной. Нужно лишь сделать так, чтобы один пол не притеснял другой. Благодаря деликатным и неоднократным усилиям вначале Ришара, затем Филиппа и, наконец, Пье-

ра, сформировался *морской еж*, который дышит, расцветает, ищет сосок. Необходимо только упорядочить, интегрировать это влечение, выделив ему долю в том зверинце, который я из себя представляю.

Иногда морской еж сердится, косо сжимаясь, словно я рожаю обычного ежа или терновый венец.

116

Не все ли равно для удовольствия и для нас, какие формы оно принимает и какие сосуды заимствует? Так насладимся же! Отвращение точно так же совместимо с удовольствием, как и красота. Мифология беспрестанно показывает нам богов, заигрывающих с чудовищами. Дабы совокупиться со смертными, Зевс охотнее всего обращается в зверя. Моя философия, которой я обязан непрерывным счастьем и мужеством, состоит в том, чтобы полюбить что-нибудь одно, да так пылко, что все остальное отойдет на задний план, все вокруг сведется к нулю.

Вы задаетесь вопросом, почему X. соглашается на столь тяжелую, неблагодарную работу? Как он вообще справляется? Он терпит у себя дома самую несносную из женщин, приступы раздражения, одну сцену за другой, беспрестанные расходы, которых он не желает, а вне дома сталкивается с трудностями неприятнейшей профессии. Ну и что? Лишь бы он мог время от времени, на исходе недели, удовлетворять свою манию – порок, о котором знает лишь он сам. Его не интересует больше ничего, и нет такого труда, который он не возложил бы на себя, дабы заслужить это удовольствие – объективно ничтожное, пустяшное в глазах других, заменяющее для него Все.

Я больше не выбираю того, что происходит у меня дома. Ксантиппа незаконно лишает меня даже той тени авторитета, которую я мог бы обрести. К счастью, у меня есть *порок* – убежище, где я прячу свою свободу и обоз моей мести.

К сожалению, пытаюсь отомстить за одну беду, мы нередко попадаем в другую. Но какого черта я пришел в тот вечер на эту каторгу? Понаблюдать вблизи за удивленным безразличием незнакомца, взирающего, как я повис у него шее, прикованный к его гвоздю?

Не пытайтесь понять эти жесты – грандиозные и бесполезные мифы, служащие лишь продолжениями бреда, которому, видимо из кокетства предается в нас Естество. Лишь для тех, кто отказывается становиться в очередь, оно импровизирует роскошные обряды и добросовестно им подчиняется: мы видим ради видения, любим ради любви, не ожидая ни от другого, ни от себя, ни от удовольствия ничего, помимо *Удовольствия*.

Прилипнув к его бесстрастному боку, я извиляюсь, точно бабочка, пронзенная булавкой и машущая крыльями.

Никаких криков – это было бы вульгарно.

Гримаса, застывающая на полпути между смехом и слезами, и ты падаешь под грохот лавины.

С такой обоюдной отчаянной торжественностью не обрушиваются даже с вершины в бездну – и прости-прощай!

Я возвращаюсь в три пополудни и вижу людей, по-прежнему сидящих у своих дверей. Ах, если б они только знали, откуда я пришел!

В Ателье застаю маленькую польку, навещающую справки по документам, которые я передал ей перед уходом. Моя жена, подметавшая лестницу, еще не добралась до последней ступеньки, а я

за это время избороздил целые миры, словно те авиаторы, что, попросившись накануне, здороваются с вами на следующий день, облетев, пока вы спали, полушарие. Сколько склонов одолел я за это время? И на скольких других оступился? Со сколькими плечами я померился силами? Скольким пыткам подвергся? Сколько пота пролил? Стрела, задевшая меня, еще вибрирует, дымясь в одиночестве, а жгучая рана пока не затянулась, и я двигаюсь вокруг нее, не обращая внимания. Я продолжаю свой разговор с этими дамами, как ни в чем не бывало, – с непринужденностью, которая показалась бы невинной, не будь она столь бесстыдной.

Время от времени Ксантиппа подозрительно поглядывает на меня, словно догадываясь о чем-то, а малышка беспокоится: как будто некий запах разврата, пропитавший мои члены, тайком поведал ей о далеких краях, откуда я принес в строгую и спокойную комнату волнующие миражи, конечно, с расплывчатыми очертаниями, но окружающие мои жесты инфернальным светом, тогда как самые безобидные мои слова сопровождаются глухим и тревожным шумом, незаметно, но уверенно меняющим их смысл.

Я – чудовище, и кто знает, чем оно рискует? Я изменил Пьеру с Тео прямо у него под носом.

Не все ли равно?

У подножия башни – все тот же колодец, но, как бы я ни всматривался, там никогда не будет ничего здоровее, чище и роскошнее в моих глазах, чем бедра Пьера.

Не задержи меня З. у телефона еще на секунду, я бы не встретил его в дверях дома.

Раз уж он знает, где я живу, он скоро выяснит и мое имя, и если он сутенер, как я предполагаю, то начнет меня шантажировать, едва лишь я чем-нибудь ему не ужогу.

Тем не менее, я веду себя совершенно естественно, и, скорее, это у него смущенный вид.

– Вот те на! Пьер, ты? Что ты здесь делаешь?

– Я мог бы задать тебе тот же вопрос. Я лечу зубы у твоего соседа, доктора Н.

– Ну пока.

Я повернул обратно, чтобы он не успел заметить, что я проживаю в глубине сада, но это напрасный труд: по возвращении я снова увидел его черные глазки, проследившие за моим маневром.

Если бы я не любил Риск, жизнь моя была бы отравлена.

Вчера вечером, работая за столом, я вдруг поднял глаза – и кого же увидел в кресле для пациентов врача Н.? Пьера!

Нет, никогда в жизни я не забуду подобной очной ставки.

Мой четверговый любовник!

Анонимам позволительно все, словно людям в маске, но теперь, неожиданно явившись в мой дом, он вполне мог познакомиться и с моей женой, занятой шитьем в саду.

Сама неправдоподобность ситуации придала бы ей пикантности, если бы, конечно, мне захотелось посмеяться. На миг я счел себя жертвой иллюзии либо галлюцинации, однако уже был готов к этой встрече после его неожиданного появления два дня назад у нас на крыльце.

Чрезвычайные, драматичные ситуации об-
ладают тем преимуществом, что подводят нас к
краю пропасти, где все пресное становится неосу-
ществимым и даже невозможным.

Три дня спустя в банке, когда мне сообщили
об остатке на счете, я почувствовал, как чья-то ла-
донь легла на руку.

Опять он, и мне это не снится.

120 Я тотчас напустил на себя спокойствие, мы
перекинулись парой фраз о его фотографии, кото-
рую он мне пообещал.

Жан Т.:

– Экий сорвиголова. Он что, вездесущий – этот
Пьер?

– Вы же видите, друг мой, он – Дьявол во пло-
ти. Вечером четверга мы втроем, Жан Т., Ксантип-
па и я, стояли перед церковью Сен-Фердинан, на
тротуаре справа. Я поднял глаза – и кого же увидел
спускавшимся по улице, с развевавшимися воло-
сами, в бархатных штанах и белом шерстяном пу-
ловере? Моего Пьера на велосипеде.

Я показал на него локтем и подмигнул своему
другу.

Жан:

– Он преследует вас. Вы встречаете его повсю-
ду?

Я расхохотался.

Я понял, что это он.

Видел ли он нас? Узнал ли меня?

Эти стечения обстоятельств, эти совпадения,
эти загадочные *появления* не могут не потрясать
и вместе с тем восхищать. Подумать только: еще
вчера мы, голые, обнимали друг друга, а на следу-
ющий день сталкиваемся в городе, когда я гуляю с
женой и Жаном.

– Будьте осторожны, – шепчет он, – а вдруг это Архангел Содома, который принял подобный облик, дабы предупредить вас о близящемся конце? Конец? Скорее уж, возмездие.

Внутри меня сгущаются такие тяжелые тучи, что я даже трясусь в лихорадке. Если пробую представить себе, кем являюсь в глазах окружающих, в собственных глазах и в глазах Пьера, когда он сжимает меня в объятиях или когда трижды за неделю захватывает меня врасплох – дома, в банке и на улице, я поневоле начинаю беспокоиться.

121

Когда мы беседовали с Жаном и Ксантиппой, она прочитала мне мораль, и я расхохотался.

Жан, чуть позже:

– Вы не можете не знать, что означает ваш хохот. Здесь замешан Дьявол – Элиза поражена. Впрочем, она еще никогда не казалась мне столь гуманной: «Вы слышали?» – только и сказала она мне. А когда вы исчезли и пошли спать с голой шеей, не стану скрывать, что вы были похожи на Принца-каторжника... Как только что вы закрыли за собой дверь, Ксантиппа заговорила вновь: «Вы помните этот смех? Мы уже слышали его в четверг перед церковью Сен-Фердинан. Совершенно беспричинный, он словно повис в воздухе. Такое чувство, будто он был обращен к кому-то невидимому для нас». «Ну да, к тому, кто случайно проезжал мимо на велосипеде», – огрызнулся я. «Вот именно, – продолжила она, – не успел появиться, как тут же исчез». «Вероятно, это был сам Дьявол».

Издательства «Kolonna Publications» и «Митин Журнал» представляют

Марсель Жуандо
ЗАТЕРЯННЫЕ СТРАНИЦЫ

122

Николай Бердяев, назвавший Марселя Жуандо (1888-1979) «самым замечательным и глубокомысленным писателем современной Франции», не подозревал, что наряду с принесшими ему славу книгами о провинциальных нравах, богоискательстве и супружеских отношениях, Жуандо пишет и другие вещи: о великолепии мужских борделей. «Затерянные страницы» – последняя книга из цикла «тайных сочинений» Жуандо – была опубликована после смерти автора.

Франсуа-Поль Алибер
МУЧЕНИЯ ЧЛЕНА

Франсуа-Поль Алибер (1873-1953) современникам был известен как один из спутников Андре Жида и плодовитый поэт, тяготеющий к классическим формам. Лишь через полвека после смерти Алибера были открыты его тайные сочинения – эротические повести весьма радикального толка. «Мучения члена» – исповедь человека, наделенного детородным органом невероятных размеров, «Сын Лота» – рассказ юноши, который провел неделю, занимаясь любовью с собственным отцом.

Габриэль Витткоп
СОН РАЗУМА

Муж забивает беременную жену тростью в горящем кинотеатре, распутники напаивают шампанским уродов в католическом приюте, дочь соблазняет отцовских любовниц, клошар вспоминает убийства детей в заброшенном дворце, двенадцатилетнюю девочку отдают в индонезийский бордель... Тревога – чудище глубин – плывет в свинцовых водоворотах. Все несет печать уничтожения, и смерть бодрствует даже во сне.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

Уильям Берроуз
БЛЭЙДРАННЕР

Предсмертный бред знаменитого гангстера... Исчезновение тайной библиотеки предводителя секты ассасинов... оргии в гигантском лепрозории... опустошенный Нью-Йорк 2014 года... Это фильмы Уильяма Берроуза, которые вы никогда не увидите на экране.

123

Франсуа Жибо
НЕ ВСЕ ТАК БЕЗОБЛАЧНО

«Уже в детстве мне было легче общаться с Богом и мертвыми, чем с живыми», – признается Франсуа Жибо, французский писатель, известнейший адвокат, автор фундаментальной биографии Луи-Фердинанда Селина, коллекционер, меценат и, наконец, просто представитель парижского света.

Эрве Гибер
БЕЗ УМА ОТ ВЕНСАНА

В 1989 году Эрве Гибер опубликовал записи из своего дневника, посвященные Венсану – юноше, который впервые появляется на страницах книги «Путешествие с двумя детьми». «Что это было? Страсть? Любовь? Эротическое наваждение? Или одна из моих выдумок?»

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в Москве:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулоч, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Циолковский» Новая площадь д.3/4
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo» Таганская ул., 31/22

в Петербурге:

«Порядок слов» наб. Фонтанки, д. 15
«Борхес» наб. Обводного канала, 60
«Все свободны», наб. Мойки, 28, второй двор
«Петербургская книжная лавка», Невский проспект, 66

через Интернет:

«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:

«Либра» librabook.com.ua

По вопросу оптовых продаж обращаться в
ооо «Берроунз», тел. (495) 971-47-92
Национальный книжный дистрибьютор
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Марсель Жуандо
ТАЙНЫЕ ПИСЬМЕНА

Kolonna Publications.
Россия, Тверь, улица Брагина, 6, офис 301
Подписано в печать 23.01.2013 Тираж 500 экз. Заказ № 0013/2
Формат 70 x 100/32. Объем 6 п. л. Гарнитура itc Charter
Отпечатано в Кромской типографии рыбацкого союза мира
«Рыбное Безумие» 303200, Орловская обл., поселок Кромь,
улица Губена Кряквы, 34